ИЛ

Библиотека журнала «Иностранная литература»

Адольфо Бьой Касарес

Теневая сторона



ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Adolfo Bioy Casares

Адольфо Бьой Касарес

Теневая сторона

Рассказы

Перевод с испанского

Составление и предисловие

Вероники Спасской

Москва
«Известия»
1987

И (Арг)
К28

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент *И. Тертерян*

Обложка художника Л. Муратовой

«Поистине мир неисчерпаем»

Случилось так, что Адольфо Бьой Касарес поначалу предстал перед нами в роли литературного персонажа, полумифической личности, мелькающей на страницах книг. В таинственных рассказах Борхеса он подчас дает первый толчок развитию сюжета, его поступки непроизвольно становятся исходным звеном в длинной цепи ассоциаций: это он привозит из Лондона «странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в форме буквы Н» («Человек на пороге»); это он находит именно тот экземпляр казалось бы обычной энциклопедии, на страницах которого, отсутствующих в других экземплярах, дается описание страны Укбар («Тлён, Укбар, Orbis Tertius»). А вот что говорит в одном из своих последних рассказов Хулио Кортасар: порой, когда его «начинает одолевать зуд рассказа, этот тайный, все нарастающий зов», и, не в силах ему противиться, писатель, проклиная себя, все же садится за машинку,— в эти минуты ему бы хотелось быть Адольфо Бьоем Касаресом. «Я бы желал быть Бьоем, потому что всегда восхищался им как писателем и уважал как человека,— признается Кортасар,— но главное, мне ужасно хочется написать об Анабел так, как написал бы о ней он (...) Бьой сумел бы рассказать об Анабел так, как я не способен, показал бы ее вблизи и изнутри, сохраняя одновременно отстраненность, какую он намеренно сохраняет (...) между некоторыми своими персонажами и рассказчиком» («Дневниковые записи для рассказа»). И эти ссылки — не просто литературная игра. Адольфо Бьой Касарес широко известен в испаноязычных странах как один из ведущих прозаиков; имя его связано с литературой необычной, фантастической — многие критики считают Бьоя Касареса основоположником научной фантастики в Аргентине. Человек глубоко образованный, неистощимый и занимательный рассказчик, великолепный стилист, иро-

ничный и остроумный, он давно уже пользуется заслуженным признанием; его книги переведены на многие языки, отмечены национальными и международными премиями, по его рассказам сняты кино- и телефильмы.

Биография Адольфо Бьоя Касареса небогата внешними событиями. Он родился в 1914 году в Буэнос-Айресе, детство провел попеременно в городе и в усадьбе, принадлежавшей его родителям, учился на юридическом и на философско-филологическом факультетах. Бьой Касарес рано увлекся книгами и рано начал писать; ребенком он подражал любимым авторам, бесхитростно списывая у них целые страницы, а подростком стал сочинять фантастические и детективные истории и первую книгу, под знаменательным названием «Пролог», издал пятнадцати лет от роду, в 1929 году. За этой книгой последовали другие, но, как говорит сам писатель, ни ему, ни его друзьям радости они не доставляли. Один из ранних сборников, вышедших в тридцатые годы, Бьой Касарес назвал «Семнадцать выстрелов в будущее», давая понять, что в дальнейшем эти рассказы наверняка обернутся против их автора.

К началу тридцатых годов относится знакомство Адольфо Бьоя Касареса с Борхесом; знакомство это переросло затем в тесную дружбу, связавшую и литературные судьбы обоих. В 1936 году они вместе начинают выпускать журнал «Дестьемпо», просуществовавший, впрочем, очень недолго. Вместе на протяжении всей жизни они с удовольствием составляют различные антологии — как, например, «Антология фантастической литературы» (1940), «Короткие и необычайные рассказы» (1956), «Книга небес и ада» (1960), где собраны философские притчи, короткие истории и афоризмы о рае и аде писателей разных стран и разных эпох; вместе публикуют библиотеку детективных романов, комментированные издания испанских и английских классиков, выпускают том поэзии гаучо, пишут киносценарии и создают забавный литературный миф — писателя Онорио Бустоса Домека, от имени которого они издали несколько книг, в том числе сборник детективных рассказов «Шесть

проблем для дона Исидро Пароди» и собрание велеречивых хвалебных отзывов на произведения несуществующих писателей, художников, скульпторов, архитекторов, где саркастически высмеяли буржуазные эстетические каноны шестидесятых годов. Нередко в этих изданиях участвовала и жена Бьоя Касареса, писательница Сильвина Окампо.

Корни духовного родства Бьоя Касареса с Борхесом лежат в схожих литературных влияниях и симпатиях, в склонности к фантастике и детективу; их связывает глубокое уважение к ценностям человеческой культуры и любовь к истории родной страны. Вместе с тем Бьой Касарес прокладывает свой путь в литературе отнюдь не как подражатель; он создает собственный мир, мир особый и удивительный, но при этом гораздо конкретнее привязанный к аргентинской действительности. Борхес — там, где пишет об Аргентине,— обращается к ее истории или воскрешает персонажей, знакомых ему по воспоминаниям детства. Бьой Касарес чаще всего пишет о современном ему Буэнос-Айресе с его живыми приметами, об его улицах, памятниках и площадях, населяя его обыкновенными людьми, чьи характеры, чей язык он великолепно знает, а также о тихих провинциальных городках и их колоритных обитателях. И вот на этой вполне конкретной основе вырастает его мир, который при всей фантастичности подчинен действию строгих законов. В Бьое Касаресе много от ученого, а в его книгах — от изобретений, от открытий; об этом пишут исследователи и критики, это признает и сам писатель. «Замечательным изобретателем сказочных миров, выстроенных в соответствии с точными законами», называет его аргентинский литературовед Э. Андерсон Имберт.

Решительно перечеркнув свои ранние произведения, Адольфо Бьой Касарес постоянно утверждает, что его творческий путь начался с романа «Изобретение Мореля», вышедшего в 1940 году, а в 1941-м получившего муниципальную премию по литературе. Писатель не скрывает, а, наоборот, даже самим названием подчеркивает литературное родство этой книги с ее предшественниками —

в первую очередь с романом «Остров доктора Моро» Г. Дж. Уэллса; несомненно, что в плане ассоциативном тут сыграл свою роль и «жестокий освободитель Лазарус Морель», герой одного из ранних рассказов Борхеса. В романе Бьоя Касареса некий инженер Морель изобретает, сказали бы мы теперь, голографию, точнее, голографическое кино: на уединенном острове, куда Морель привез когда-то группу друзей, периодически возникают пространственные изображения, бесконечно повторяя все те же несколько дней, прожитых здесь этими людьми и заснятых аппаратами Мореля. Но самих людей уже нет — оживляя изображения, изобретение Мореля постепенно умерщвляет оригиналы. А беглец, который, ни о чем не подозревая, укрылся на этом острове, влюбляется в одну из участниц призрачной группы и, уже поняв, в чем дело, приносит свою жизнь в жертву любви — вводит себя в мир призраков, чтобы хоть образ его навечно остался рядом с возлюбленной. Книга эта вошла в историю литературы как первый латиноамериканский научно-фантастический роман. В предисловии к нему Борхес писал: «Не будет неточностью или преувеличением назвать его совершенным», а другой крупный аргентинский писатель, Эдуардо Мальеа, говорил о книге как о маленьком шедевре.

С этим романом смыкается следующий роман Бьоя Касареса, «План бегства» (1945). Здесь тоже речь идет о «жестоком освобождении»: губернатор острова-тюрьмы «освобождает» своих подопечных путем хирургической операции, после которой органы чувств заключенных по-иному реагируют на внешние раздражители, так что отныне они видят не стены камеры, а берег моря, волны, небо — словом, чувствуют себя на воле, счастливыми, беззаботными, свободными от всех горестей.

Адольфо Бьой Касарес выпустил еще четыре романа. Это полный странной ностальгической красоты «Сон героев» (1954) — своеобразный миф о Буэнос-Айресе,— который многие считают лучшим романом писателя: история о человеке, пожелавшем еще раз пережить незабы-

ваемую ночь в прошлом и поплатившемся за это жизнью; стоящий особняком роман «Хроника войны против свиней» (1969), в котором на сугубо реалистичном фоне (будни нескольких старых друзей — мелких торговцев, служащих, пенсионеров) разворачиваются, казалось бы, фантастические события: внезапно банды молодых людей, охваченных нутряной ненавистью к старикам, развязывают против них настоящую войну, войну на истребление; этот роман читается и как философская притча, и как весьма реальное — особенно в латиноамериканских странах,— великолепное своим лаконизмом и яркой выразительностью изображение атмосферы террора в городе, вдруг оказавшемся во власти организованных фашиствующих банд. И тем глубже трогает читателя появление персонажа, который осмеливается противопоставить всеобщему страху, оцепенению, низости подлинную отвагу и душевное благородство, укрывая, спасая от смерти одну из жертв.

В 1973 году появился роман Бьоя Касареса «Спать на солнце», также о научном изобретении — на этот раз доктора-психиатра, отправляющего больные людские души «на отдых» в тела собак; а совсем недавно, в 1985 году, вышел его роман «Приключения фотографа в Ла-Плате».

Однако особую известность принесли писателю его рассказы. Начиная с 1948 года, когда был опубликован первый — из признанных им — сборник, «Козни небесные», он издал еще шесть книг — «Канун Фауста» (1949), «Необычайная история» (1956), «Гирлянда историй о любви» (1959), «Теневая сторона» (1962), «Великий серафим» (1967), «Герой женщин» (1978) — очень разных, но неизменно получающих широкий отклик. Как мы уже говорили, писатель никогда не скрывает литературных связей с произведениями любимых писателей, более того, не раз дает на них прямые ссылки — так, в рассказе «Чудеса не повторяются» упоминается Сомерсет Моэм, а в рассказе «Теневая сторона» — Конрад, и повествование как-то исподволь окрашивается в тона, характерные для литературной ткани этих авторов. В рассказе «Козни небесные» из одноимен-

ного сборника ощущается влияние Борхеса: это обрастание литературными и псевдолитературными ссылками, наложение на современность событий, происходивших в глубокой древности, быть может, даже сама идея параллельных миров (в дальнейшем Бьой Касарес обходится одним, обнаруживая в нем бессчетные возможности для необычного), однако уже здесь, в первом сборнике, автор подробно выписывает живой Буэнос-Айрес с его топографией, его обитателями, и тем удивительнее кажутся перипетии летчика-испытателя, попадающего из одного мира в другой, совсем такой же, где существует тот же Буэнос-Айрес, живут те же люди, но есть и небольшие изменения — например, отсутствует Уэльс и сохранился Карфаген.

Более ранние рассказы — «Козни небесные», «Пауки и мухи»,— пожалуй, схематичнее, в них излагается фантастическая история как таковая, главное — это сюжет. Затем от сборника к сборнику мы видим, как все тщательнее, с большей любовью, с возрастающим мастерством и с тонкой иронией Бьой Касарес прописывает фон, на котором разворачивается действие, живее становятся персонажи — и главные, и второстепенные, ярче и выпуклее конкретные приметы — национальные и временны́е. Но интересно, что в целом рассказы Бьоя Касареса складываются в одну картину. В темах, в сюжетных построениях писатель и впрямь неистощим, но рассказы его объединяет и общая концепция действительности, и прямая преемственность характеров, а порой и отдельных героев.

«Нет никаких оснований опасаться, что тебе более не встретится ничего нового и неожиданного; поистине мир неисчерпаем»,— утверждает писатель в книге «Гирлянда историй о любви», и в этом один из принципов его творчества. Далее вступает в действие второй принцип, четко сформулированный в одном из лучших рассказов Бьоя Касареса, «Герой женщин»: «Всем нам интересно обнаружить щель в реальности, казавшейся столь монолитной». Такой «щелью в реальности» оказывается возникновение любимой женщины — живой, веселой, чуть смущенной —

в толпе авиапассажиров на краю света, после того как герой рассказа «Чудеса не повторяются» оплакал ее смерть; или короткий туннель, по которому за пять минут, спустившись куда-то, можно преодолеть расстояние в сотни километров («О форме мира»); или совмещение ягуара с человеком, злодеем-обольстителем прошлых лет,— возникнув в настоящем, он уводит с собой молодую красавицу, жену старого Вероны («Герой женщин»). Подобным же образом на знакомой коммивояжеру провинциальной дороге вдруг вырастает военная зона (рассказ «Напрямик»); здесь в противопоставлении «маленького человека» и непонятной ему слепой государственной машины ощущается, пожалуй, влияние Кафки — но сколь реальны, особенно в латиноамериканском контексте, переживания человека, беспомощного в руках военных, не знающего за собой никакой вины, но внезапно понимающего, что наказание неотвратимо. Однако загадка, ответ на которую неоднозначен (так, разбирая рассказ «Герой женщин», перуанский критик Хосе Мигель Овьедо вывел целых пять гипотез о том, как толковать случившееся), становится у писателя одним из условий некой ироничной игры — и с героями, и с читателем, и даже с самим собой.

Рассказ «Герой женщин» очень показателен в этом плане. В этом рассказе словно подводится своеобразный итог всему написанному Бьоем Касаресом: в теориях и рассуждениях одного из персонажей, инженера Лартиге, всплывают темы прежних его рассказов. Здесь автор как бы полемизирует с собой: «Даже у сочинителей фантастических рассказов наступает миг, когда они вдруг понимают, что первейшая обязанность писателя — сохранить для потомков немногие события, немногие места, а главное, немногих людей, которые (...) оставили заметный след в его жизни или хотя бы в памяти. К черту Чертовы острова, сенсорную алхимию, машину времени и магов-кудесников!..» — лукаво провозглашает он, чтобы тут же начать рассказ о событии еще более необъяснимом.

В одном интервью Бьой Касарес говорил, что, в отличие

от Борхеса, считающего, что жалость унижает человека, он испытывает сострадание к людям: «Все мы — скромные, неприметные герои хотя бы уже потому, что просто живем на свете». Налет этого чуть ироничного, снисходительного сочувствия лежит на большинстве рассказов и определяет ту отстраненность, которую отмечал Кортасар. Выше уже говорилось, что персонажи писателя иногда переходят из рассказа в рассказ (например, Кориа из рассказа «Юных манит неизведанное» упоминается затем в рассказе «Герой женщин»; и не случайно фамилия этого персонажа напоминает фамилию молодого человека из рассказа «О форме мира»: Кориа — Коррея); но примечательно, что характеры их схожи: это наивные, неискушенные люди, против своей воли вовлеченные в события, суть которых превосходит их понимание; если же они пробуют докопаться до сути, разобраться, что к чему, это грозит им опасностью, зачастую смертельной. Как отмечал один критик, они не герои своих приключений, а их жертвы. Однако оказывается, что и в плане человеческом они не всегда бывают на высоте: малодушные, эгоистичные, они из трусости или от душевной слепоты предают своих друзей и возлюбленных, не могут противостоять злу. Гораздо сильнее и целеустремленнее оказываются у Бьоя Касареса женщины: они инициативны, подчас умнее и всегда дальновиднее мужчин. Им ни к чему докапываться до сути происходящего — гораздо важнее использовать обстоятельства, пусть даже сверхъестественные, в своих целях и быть настойчивыми на путях любви — ибо только в любви женщина осуществляет себя. Именно женщины, а не в целом аморфные мужчины занимают у Бьоя Касареса крайние позиции на шкале моральных ценностей. Без всякой снисходительности рисует автор отталкивающую Элену Якобу Криг («Пауки и мухи») и хорошенькую Хулию («Как рыть могилу»), столь последовательных в своем преступном упорстве. Но когда эта власть над обстоятельствами используется во имя добра, только тут появляются героини, к которым автор относится с явной симпатией: Нелида из романа «Хроника войны

против свиней» — это о ней мы упоминали выше — единственная, кто сумел не поддаться атмосфере всеобщего страха; Лаура («Герой женщин»), самая решительная и смелая личность среди провинциальных обывателей; даже тетя Рехина («Юных манит неизведанное»), которая уберегла простодушного племянника от верной гибели.

Давая интервью, Бьой Касарес неохотно говорит о содержании своих книг, об их героях, он предпочитает рассказывать о том, как он пишет, делится мыслями о писательском труде. Видишь, что для него это процесс глубоко осознанный, трудоемкий и необходимый. Исследовательница его творчества Офелия Ковасси справедливо замечает, что литература для Бьоя Касареса — это гносеология, применяющая почти научные методы, и сам писатель часто подчеркивает, что в литературе существуют свои законы: «Писать — значит непрерывно открывать эти законы или терпеть поражение... Работа писателя — это задача, которую решаешь, отчасти применяя общие, уже установленные законы, отчасти — законы особые, которые тебе предстоит открыть и принять». Он говорит, что никогда не испытывает мук, сидя перед белой страницей; у него всегда есть больше тем, чем написанных рассказов. Но написать хороший рассказ — длительный и тяжелый труд. «Писать — значит сделать плохой черновик, а потом править его, пока не прояснишь, что же думаешь на самом деле (...) Фраза может быть великолепной, но если она не выражает идею, не передает истину, приходится отказываться от нее; надо уметь отказываться — но порой как же это больно».

Все написанное Адольфо Бьоем Касаресом за долгие годы свидетельствует о том, что ему удалось постичь законы литературного мастерства. Первое знакомство с книгой рассказов этого крупного аргентинского прозаика позволяет советскому читателю заглянуть в неповторимый мир его фантазий, мир, полный тайн и удивительных случайностей, открывающих — пусть это и звучит парадоксально — новые стороны человеческого бытия.

Вероника Спасская

Козни небесные

Когда капитан Иренео Моррис и доктор Карлос Альберто Сервиан, врач-гомеопат, исчезли 20 декабря из Буэнос-Айреса, газеты едва откликнулись на это событие. Поговаривали, что они кого-то обманули, в чем-то запутались, что назначена комиссия для расследования дела; говорили также, будто малый радиус действий захваченного беглецами самолета позволяет предполагать, что далеко им не улететь.

На днях я получил посылку; в ней были три тома in quarto (полное собрание сочинений коммуниста Луи-Огюста Бланки*); не очень ценное кольцо (аквамарин, в глубине которого проступало изображение богини с лошадиной головой); отпечатанные на пишущей машинке страницы «Приключений капитана Морриса», подписанные К. А. С. Привожу эти страницы.

Приключения капитана Морриса

Свой рассказ я мог бы начать какой-нибудь кельтской легендой, например, о путешествии героя в страну, открывшуюся ему по ту сторону родника, или о неприступной тюрьме, сплетенной из гибких ветвей, или о кольце, превращающем в невидимку любого, кто его наденет, или о волшебной туче, или о девушке, льющей слезы в далекой глуби зеркала, зажатого в руках рыцаря, которому суждено спасти ее, или о нескончаемых и безнадежных поисках могилы короля Артура:

* Луи-Огюст Бланки (1805—1881) — французский коммунист-утопист, участник революций 1830 и 1848 гг. Тридцать семь лет провел в тюрьмах. (*Здесь и далее прим. перев.*)

Вот могила Марка и могила Гуити*
Вот могила Гугона Гледдиффрейдда**
Но могилу Артура никто не нашел.

Мог я также начать с сообщения, которое меня удивило, но оставило равнодушным, сообщения о том, что военный трибунал обвиняет капитана Морриса в измене. Или же с отрицания астрономии. Или с теории «пассов» — движений, которыми вызывают и изгоняют духов. Однако я изберу начало менее увлекательное; пусть волшебные силы его не одобрят, зато его подсказывает метод. Тут нет отречения от сверхъестественного; и того менее отречения от намеков и ссылок, изложенных в первом моем разделе.

Меня зовут Карлос Альберто Сервиан, и родился я в Рауче; я армянин. Вот уже восемь веков, как мой родной край не существует; но армянин не может оторваться от своего генеалогического древа; весь его род будет ненавидеть турок. «Родившийся армянином — навеки армянин». Мы подобны тайному обществу, подобны клану; мы рассеяны по всем континентам, но необъяснимое кровное родство, схожие глаза, нос, особое понимание и радостное ощущение земли, известные способности, хитрости, распутства, по которым мы узнаем друг друга, пламенная красота наших женщин объединяют нас.

Кроме того, я холостяк и, подобно Дон Кихоту, живу (жил) вместе со своей племянницей, девушкой миловидной, молодой и работящей. Хотел было добавить еще одно определение — спокойной, но должен признаться, последнее время она его не заслуживала. Моей племяннице нравилось выполнять обязанности секретарши, и так как секретарши у меня нет, то она отвечала на телефонные звонки, перебеляла и с известным пониманием приводила в порядок истории болезни и анамнезы, которые я небрежно набрасывал со слов больных (как правило, довольно

* Герои кельтских сказаний.

** Персонаж кельтской мифологии.

беспорядочные), и разбирала мой обширный архив. Любила она еще одно развлечение, не менее невинное: по четвергам вечером ходила со мной в кино. В тот вечер был четверг.

Открылась дверь. В кабинет решительным шагом вошел молодой военный. Моя секретарша стояла справа от меня за столом и нетерпеливо протягивала мне большой лист бумаги, на котором я записывал полученные от больных сведения. Молодой военный представился без проволочек — его звали лейтенант Крамер — и, пристально взглянув на мою секретаршу, спросил твердым голосом: — Говорить?

Я сказал, чтобы говорил. Он произнес: — Капитан Иренео Моррис хочет вас видеть. Он содержится в Военном госпитале.

Очевидно заразившись воинственностью моего собеседника, я ответил: — Слушаюсь.— Когда пойдете? — спросил Крамер.— Сегодня же. Если только мне разрешат пройти в такое время...

— Вам разрешат,— объявил Крамер. Щелкнув каблуками, отдал честь и тут же удалился.

Я взглянул на племянницу; ее нельзя было узнать. Разозлившись, я спросил, что с ней. Вместо ответа, она спросила сама: — Знаешь, кто единственный человек, который тебя интересует?

Я имел наивность посмотреть, куда это она показывает. И увидел в зеркале свое отражение. Племянница выбежала из комнаты.

С некоторого времени она была не так спокойна, как раньше. И еще взяла привычку называть меня эгоистом. Боюсь, что отчасти виновен в этом мой экслибрис. На нем трижды — по-гречески, на латыни и по-испански — было написано изречение: «Познай самого себя» (никогда не подозревал, как далеко заведет меня это изречение) и красовался я сам, рассматривающий в лупу свое отражение в зеркале. Племянница наклеила тысячи таких экслибрисов на тысячи томов моей постоянно обновляющейся библиотеки. Но была еще одна причина провозгласить меня эгоистом. Я человек методичный, а методичные люди, поглощенные

непонятными занятиями, невнимательны к капризам женщин и кажутся им сумасшедшими, глупцами или эгоистами.

Я осмотрел (не очень внимательно) еще двух пациентов и отправился в Военный госпиталь.

Было уже шесть часов, когда я подошел к старому зданию на улице Пасос. После ожидания в полном одиночестве и краткого несущественного опроса меня проводили в палату, занимаемую Моррисом. У дверей стоял часовой с примкнутым штыком. В палате рядом с койкой Морриса два человека, не ответившие на мое приветствие, играли в домино.

С Моррисом мы были знакомы чуть ли не всю жизнь; однако никогда не были друзьями. Я очень любил его отца. То был чудесный старик с круглой, коротко остриженной седой головой и голубыми глазами, необыкновенно ясными и живыми; его отличали неукротимая любовь к Уэльсу и безудержная страсть рассказывать кельтские легенды. Много лет (самые счастливые годы моей жизни) он был моим учителем. Каждый вечер, после недолгих занятий, он рассказывал, а я слушал разные истории из «Мабиногиона»*; потом мы подкреплялись чашечкой-другой мате с жженым сахаром. В саду бродил Иренео; он охотился на птиц и крыс и при помощи перочинного ножа, нитки и иглы соединял разнородные трупики; старик Моррис говаривал, что Иренео будет врачом. Я же буду изобретателем, потому что питал отвращение к опытам Иренео и иной раз рисовал ядро с рессорами, на котором можно совершить самые невероятные межпланетные путешествия, или же гидравлический насос, который, стоит только пустить его в ход, никогда не остановится. Нас с Иренео разделяла взаимная и сознательная антипатия. Теперь, когда мы встречаемся, мы испытываем бурную радость, приступ сердечности и тоски о прошлом, повторяем одни и те же слова о воображаемых воспоминаниях детства и былой дружбе, а дальше уже не знаем, о чем говорить.

Любовь к Уэльсу, прочные кельтские привязанности

* Сборник средневековых валлийских повествований.

кончились с жизнью его отца. Иренео преспокойно стал аргентинцем, и ко всем иностранцам относится с равным равнодушием и пренебрежением. Даже внешность у него типично аргентинская (многие считают его южноамериканцем): красивый малый, стройный, тонкокостный, с черными волосами — тщательно приглаженными, блестящими — и острым взглядом.

Увидев меня, он как будто взволновался (никогда я не видел его взволнованным; даже в ночь смерти отца). Заговорил он ясно и четко, как бы стараясь, чтобы его хорошо слышали люди, игравшие в домино: — Дай руку. В этот час испытаний ты показал себя настоящим и единственным другом.

Это представилось мне несколько чрезмерной благодарностью за мой приход. Моррис продолжал: — Нам есть о чем поговорить, но, сам понимаешь, в таких обстоятельствах,— он мрачно посмотрел на тех двоих,— я предпочитаю молчать. Через несколько дней я буду дома; тогда с удовольствием приму тебя.

Я счел эти слова прощанием. Но Моррис попросил, чтобы я, «если не тороплюсь», остался еще на минутку.

— Чуть не забыл,— продолжал он.— Спасибо за книги.

Я что-то пробормотал в ответ. Понятия не имел, за какие книги он благодарит меня. Случалось мне совершать ошибки, но только не посылать книги Иренео.

Он заговорил об авиационных катастрофах; опроверг мнение, будто существуют местности — Паломар в Буэнос-Айресе, Долина царей в Египте,— которые излучают токи, способные вызвать несчастный случай.

Слова «Долина царей» в его устах показались мне невероятными. Я спросил, откуда он о ней знает.

— Все это теории священника Моро,— возразил Моррис.— Другие говорят, что нам не хватает дисциплины. Она противоречит характеру нашего народа, если ты понимаешь меня. Гордость креольского авиатора это и самолеты и люди. Вспомни только

подвиги Миры на «Ласточке», прикрученную проволокой консервную банку...

Я спросил Морриса о состоянии здоровья, спросил, как его лечат. Теперь уже во весь голос заговорил я, чтобы меня слышали эти, играющие в домино: — Не соглашайся на инъекции. Никаких инъекций. Не отравляй себе кровь. Принимай депуратум, а потом арнику 10 000. У тебя типичный случай для приема арники. Не забудь: дозы микроскопические.

Я ушел с чувством, что одержал небольшую победу. Пробежали три дня. Дома ничего не изменилось. Теперь, по прошествии времени, мне, пожалуй, кажется, что племянница стала более исполнительна, чем когда-либо, и менее сердечна. Как обычно, два четверга подряд мы ходили в кино; но когда в третий четверг я заглянул к ней в комнату, ее там не оказалось. Она ушла, она забыла, что сегодня вечером мы идем в кино!

Потом я получил весточку от Морриса. Он сообщал, что уже дома, и просил как-нибудь навестить его.

Принял он меня в кабинете. Должен сказать без околичностей: Моррис оправился после болезни. Есть натуры, обладающие таким несокрушимым здоровьем, что даже самые страшные яды, изобретенные аллопатией, им не вредят.

Когда я вошел в комнату, мне показалось, будто время повернуло вспять; я чуть ли не удивился, не увидев старого Морриса (умершего десять лет назад), изящного, благодушного, с удовольствием вкушающего чашечку мате. Ничто не изменилось. Те же книги стояли в библиотечных шкафах; те же бюсты Ллойд Джорджа и Уильяма Морриса, наблюдавшие мою беспечальную праздную юность, наблюдали за мной и сейчас; на стене висела страшная картина, терзавшая меня в мои первые бессонные ночи: смерть Грифитта ап Риса, известного как «светоч, и мощь, и отрада мужей Юга». Я поторопился сразу начать

интересовавший Морриса разговор. Он сказал, что должен лишь добавить некоторые подробности ко всему изложенному в его письме. Я не знал, что и ответить; никакого письма от Иренео я не получал. Решившись, я попросил рассказать, если ему не трудно, все с самого начала.

И тут Иренео Моррис поведал мне свою таинственную историю.

До 23 июня он был летчиком-испытателем военных самолетов. Первое время выполнял эти обязанности на военном заводе в Кордове; потом добился перевода на авиабазу Паломар.

Он дал мне честное слово, что как испытатель был человеком известным. Он осуществил больше испытательных полетов, чем любой летчик Америки (Южной и Центральной). Выносливость у него из ряда вон выходящая.

И столько раз он повторял эти испытательные полеты, что в конце концов автоматически проделывал одно и то же.

Вытащив из кармана записную книжку, он начертил на чистом листке множество зигзагообразных линий; тщательно обозначил цифры (расстояния, высоту, градусы углов); потом вырвал листок и преподнес мне. Я поспешил поблагодарить. Моррис объявил, что теперь я обладаю «классической схемой его испытаний».

В середине июня ему сообщили, что на днях предстоит испытание нового одноместного истребителя, «Брегет-309». Речь шла о машине, сконструированной на основе французского патента двухлетней или трехлетней давности, и испытание будет секретным. Моррис отправился домой, взял записную книжку — «так же, как сегодня»,— начертил схему — «ту, что сейчас у тебя в кармане». Затем принялся усложнять ее; затем — «в этом самом кабинете, где мы с тобой дружески беседуем» — продумал все добавления к первоначальной схеме и закрепил их в памяти.

День 23 июня — начало увлекательного и зловещего приключения — выдался хмурый, дождливый. Когда Моррис приехал на аэродром, машина еще была в ангаре. Пришлось ждать, пока ее выкатят. Пилот стал прохаживаться, чтобы не озябнуть, но только промочил ноги. Наконец появился «Брегет». Это был обыкновенный моноплан, «ничего потустороннего, уверяю тебя». Моррис бегло осмотрел самолет. Тут он взглянул мне прямо в глаза и шепотом добавил: сиденье было узкое, очень неудобное. Как он помнил, стрелка топливомера показывала, что баки заполнены, а на крыльях «Брегета» не было никаких опознавательных знаков. Рассказал еще, что приветственно помахал рукой, и почему-то движение это показалось ему неуместным. Самолет пробежал каких-нибудь пятьсот метров, оторвался от земли и начал выполнять «новую схему испытания».

Моррис считался самым выносливым испытателем Республики. Редкая физическая выносливость, заверял он меня. Он хочет рассказать мне чистую правду. Хотя это совершенно невероятно, но у него вдруг потемнело в глазах. Тут Моррис воодушевился; он говорил не умолкая. Я же позабыл о тщательно причесанном «дружке», сидевшем против меня, и только следил за рассказом: едва он начал применять новые методы, как у него потемнело в глазах; он услыхал собственные слова: «стыд какой, я теряю сознание»; погрузился в какую-то огромную темную массу (возможно, в тучу), потом перед ним возникло мимолетное радостное видение, словно видение лучезарного рая... Он едва успел выровнять самолет перед самой посадкой.

Моррис пришел в себя. Все тело у него болело, он лежал на белой койке в высокой комнате с белесыми голыми стенами. Жужжал шмель; на какое-то время ему показалось, будто он отдыхает днем, в лагере. Потом узнал, что ранен; что его задержали; что он находится в Военном госпитале. Все это его не

удивило, он не сразу вспомнил об аварии. А когда вспомнил, вот тут-то он удивился по-настоящему; понять не мог, как это он потерял сознание. Однако он потерял его не один-единственный раз... Об этом я расскажу потом.

Рядом с ним сидела женщина. Он посмотрел на нее. Это была сиделка.

Наставительно и придирчиво он заговорил о женщинах вообще. Это было неприятно. Он сказал, что всегда существует тип женщины или даже одна-единственная определенная женщина для того скота, что таится внутри каждого мужчины; и добавил, правда не очень ясно, что встретить такую женщину было бы несчастьем, потому что мужчина почувствует ее решающее влияние на свою судьбу, станет обращаться с ней боязливо и неловко, обрекая себя в будущем на тревоги и постоянное отчаяние. Он уверял, что для «настоящего» мужчины между остальными женщинами нет особой разницы и они ему не опасны. Я спросил, соответствовала ли сиделка его типу. Моррис ответил, что нет, и объяснил: она женщина матерински мягкая, но довольно красивая.

Потом продолжил рассказ. Вошло несколько офицеров (он назвал их чины). Солдат принес стол и стул; вышел и вернулся с пишущей машинкой. Потом уселся перед машинкой и застучал на ней при общем молчании. Когда солдат остановился, офицер спросил Морриса: — Ваше имя?

Вопрос не удивил его. «Чистая формальность»,— подумал он. Назвал свое имя и почуял первый признак страшного заговора, который непонятным образом опутывал его. Все офицеры расхохотались. Никогда он не предполагал, что его имя может быть смешным. Он вспылил. Другой офицер заметил: — Могли придумать что-нибудь более правдоподобное,— и приказал солдату с машинкой: — Пишите, пишите.

— Национальность? — Аргентинец,— заявил он твердо.

— На военной службе состоите?

Он иронически улыбнулся: — Авария произошла со мной, а пострадали, кажется, вы.

Они посмеялись (между собой, как будто Морриса тут и не было).

Он снова заговорил: — Я состою на военной службе в чине капитана, седьмой полк, девятая эскадрилья. — А база в Монтевидео? — с издевкой спросил один из офицеров.— В Паломаре,— ответил Моррис.

Он назвал свой домашний адрес: улица Боливара, 971. Офицеры ушли. На следующий день вернулись вместе с какими-то новыми. Когда он понял, что они сомневаются или делают вид, будто сомневаются в его национальности, ему захотелось вскочить с койки и отколотить их. Боль в ране и мягкое противодействие сиделки остановили его. Офицеры пришли на другой день и еще раз, наутро. Стояла изнуряющая жара; все тело у него болело; он признался мне, что готов был дать любые показания, лишь бы его оставили в покое. Что они задумали? Почему не знают, кто он такой? Почему оскорбляют его, почему делают вид, будто он не аргентинец? Он был растерян и взбешен. Как-то ночью сиделка взяла его за руку и сказала, что он не очень умело оправдывается. Он ответил, что оправдываться ему не в чем. Ночь он провел без сна, то впадая в ярость, то решая обдумать положение с полным спокойствием, то снова гневно отказываясь «вступать в эту нелепую игру». Наутро он хотел попросить у сиделки прощения за свою грубость; он понял, что намерения у нее были добрые, «и она очень недурна, понимаешь?»; но поскольку просить прощения он не умеет, то сердито спросил у нее, что она ему посоветует. Сиделка посоветовала заявить, что он хочет дать показания ответственному лицу. Когда пришли офицеры, он сказал, что он друг лейтенанта Крамера и лейтенанта Виеры, капитана Фаверио, полковников Маргариде и Наварро.

В пять часов вместе с офицерами явился его ближайший друг, лейтенант Крамер. Моррис смущенно сказал, что «после потрясения человек становится другим» и что при виде Крамера он почувствовал на глазах слезы. Признался, что поднялся на койке и раскрыл объятия, едва тот вошел. И крикнул ему: — Ко мне, брат мой!

Крамер остановился и невозмутимо взглянул на него. Офицер спросил: — Лейтенант Крамер, знаете ли вы этого человека?

В тоне было какое-то коварство. Моррис ждал — ждал, что лейтенант Крамер, не выдержав, сердечно откликнется на его призыв и объяснит свое участие в этой глупой шутке... Крамер ответил с излишним жаром, словно боялся, что ему не поверят: — Никогда его не видел. Даю слово, никогда не видел его.

Ему сразу поверили, и возникшее на несколько секунд напряжение разрядилось. Все вышли. Моррис услыхал смех офицеров, искренний смех Крамера и чей-то голос: «Меня это не удивило, поверьте, ничуть не удивило. Ну и наглость!»

С Виерой и Маргариде в основном повторилось то же самое. Но его прорвало. Книга — одна из тех книг, что я ему послал,— лежала под одеялом, на расстоянии руки, и он запустил ее Виере в лицо, когда тот притворился, будто они не знакомы. Моррис описал это подробнейшим образом, но я поверил ему не до конца. Поясню: я ничуть не сомневался ни в его ярости, ни в прославленной быстроте реакции. Офицеры решили, что незачем вызывать Фаверио, который был в Мендосе. Тут Морриса осенило; он подумал, что если удалось угрозами толкнуть на предательство молодежь, то ничего у них не выйдет с генералом Уэтом, старым другом его семьи, который всегда относился к нему как отец или, вернее, как строгий, справедливый опекун.

Ему сухо ответили, что в аргентинской армии нет и ни-

когда не было генерала с такой странной фамилией.

Моррис не испытывал страха. Возможно, если бы он почувствовал страх, он защищался бы лучше. К счастью, его интересовали женщины, «а вы знаете, как они любят преувеличивать опасность, как всего боятся». Однажды сиделка опять взяла его за руку и попыталась убедить, что ему грозит опасность; тогда Моррис посмотрел ей прямо в глаза и спросил, в чем смысл этого сговора против него. Сиделка повторила то, что ей удалось услышать: его утверждения, что 23 июня он проводил в Паломаре испытание «Брегета»,— ложь; в Паломаре в этот день никаких испытаний не было. «Брегет» был недавно принятым в аргентинской армии типом самолета, но названный им номер не соответствует ни одному самолету аргентинских воздушных сил «Меня что же, считают шпионом?» — спросил он, сам себе не веря. И почувствовал, как снова закипает в нем гнев. Сиделка робко ответила: «Полагают, что вы прилетели из какой-нибудь братской страны». Моррис, как истый аргентинец, поклялся ей, что он аргентинец, что он не шпион; она как будто была тронута и продолжала так же робко: «Форма совсем как наша; но установлено, что швы другие.— И добавила: — Непростительная оплошность». Моррис понял, что и она ему не верит. Он просто задохнулся и, пытаясь скрыть свою ярость, обнял ее и поцеловал в губы.

Через несколько дней сиделка сказала ему: «Выяснилось, что ты дал неправильный адрес». Моррис напрасно спорил; женщина знала точно: в том доме живет сеньор Карлос Гримальди. Моррис ощутил не то какое-то неясное воспоминание, не то, напротив, потерю памяти. Имя это, казалось, мелькало где-то в далеком прошлом; но уловить, с чем оно связано, не удавалось.

Сиделка растолковала ему, что люди, занимавшиеся его делом, разделились на две партии: одни считали, что он иностранец, другие считали его аргентинцем. Яснее говоря, одни хотели выслать его; другие — расстрелять.

— Настаивая на том, что ты аргентинец,— сказала женщина,— ты помогаешь тем, кто требует твоей смерти...

Моррис признался ей, что впервые почувствовал у себя на родине «беззащитность, какую чувствуют люди на чужбине». Но он по-прежнему ничего не боялся.

Женщина так рыдала, что в конце концов он согласился исполнить ее просьбу. «Можешь считать это смешным, но мне хотелось доставить ей удовольствие». Она просила его «признаться», что он не аргентинец. «Это был ужасный удар, меня словно ледяной водой окатили. Я пообещал, ей в угоду, ничуть не собираясь выполнить свое обещание». Он заговорил о возможных препятствиях: — Допустим, я скажу, что я из такой-то страны. На следующий же день из этой страны ответят, что мои показания — ложь.

— Неважно,— уверяла сиделка.— Ни одна страна не признается, что она засылает шпионов. Но если ты дашь такие показания, а я пущу в ход некоторые влиятельные связи, то сторонники высылки могут одержать верх. Не было бы только слишком поздно.

На следующий день пришел офицер взять у него показания. Они были наедине; офицер сказал: — Дело уже решено. Через неделю подпишут смертный приговор.

Моррис объяснил мне: — Как видишь, терять мне было нечего...

Тогда он сказал офицеру, «чтобы посмотреть, что из этого получится»: — Признаю себя уругвайцем.

Вечером сиделка призналась Моррису, что все это было хитростью; она боялась, что он не выполнит обещанного; офицер этот был другом, и ему поручили добиться нужных показаний. Моррис коротко заметил: — Будь это другая женщина, я бы избил ее!

Его показания запоздали, положение осложнилось. По словам сиделки, оставалась единственная надежда на некоего сеньора; она с ним знакома, но имя его открыть не может. Сеньор этот хочет с ним увидеться, прежде чем выступить в его защиту.

— Она сказала откровенно,— сообщил мне Моррис,— что пыталась отклонить встречу. Боялась, как бы я не произвел дурное впечатление. Но сеньор желал меня видеть, и на

него была единственная наша надежда. Она посоветовала мне быть сговорчивее.

— В госпиталь сеньор не придет,— сказала сиделка.

— Что ж, тогда делать нечего,— с облегчением ответил Моррис.

Сиделка продолжала: — В первую же ночь, когда на часах будут стоять надежные люди, отправишься к нему на свидание. Ты уже здоров; пойдешь один.

Она сняла с пальца кольцо и протянула ему.

«Я надел его на мизинец. В оправе был не то камень, не то стекло, не то бриллиант с изображением лошадиной головы в глубине. Я должен был повернуть кольцо камнем внутрь, и часовые дадут мне уйти и вернуться, притворившись, что ничего не видят».

Сиделка дала ему точные наставления. Он выйдет ночью, в половине первого, и должен вернуться не позже четверти четвертого. На клочке бумаги она написала адрес сеньора.

— Бумага у тебя? — спросил я.

— Да, думаю, да,— отвечал он и, пошарив в бумажнике, неохотно протянул ее мне.

Это был голубой листок; адрес — Маркеса, 6890 — написан твердым женским почерком (сестры из монастыря Сердца Христова, с неожиданной осведомленностью заявил Моррис.)

— Как зовут сиделку? — спросил я просто из любопытства.

Моррис как будто смутился. Потом наконец сказал: — Ее звали Идибаль. Сам не знаю, имя это или прозвище.

Он продолжал свой рассказ. Пришла ночь, назначенная для выхода из госпиталя. Идибаль не появлялась. Он не знал, что делать. В половине первого решился выйти.

Ему подумалось, что нет надобности показывать кольцо часовому, стоявшему у дверей палаты. Но тот поднял штык. Моррис показал кольцо и свободно прошел. Он прижался к двери: вдали, в глубине коридора, он заметил капрала. Потом, следуя наставлениям Идибаль, спустился по служебной лестнице и увидел входную дверь. Показал кольцо и вышел.

Он взял такси; дал адрес, указанный в записке. Они ехали более получаса; обогнули по улице Хуана Б. Хусто-и-Гаона мастерские Западной железной дороги и по длинной аллее продолжали путь до самой окраины города. Миновав пять или шесть кварталов, они остановились перед церковью; белея в темноте ночи, она возносила свои колонны и купола над окрестными низенькими домишками.

Моррис подумал, что произошла ошибка; сверил номер по записке: то был номер церкви.

— Ты должен был ждать снаружи или внутри?

Об этом не говорилось; он вошел. Никого не видно. Я спросил Морриса, какова была эта церковь. Такая, как все, ответил он. Потом уже я узнал, что некоторое время он стоял перед бассейном с рыбками, куда падали три водяные струи.

К нему вышел священник «из тех, кто одевается в обычное платье, как члены Армии спасения», и спросил, кого он ищет. Моррис сказал: никого. Священник ушел; потом снова появился. Так повторилось три или четыре раза. Морриса удивило любопытство этого человека, и он уже готов был потребовать объяснения, когда тот сам к нему обратился, спросив, есть ли у него «кольцо содружества».

— Кольцо чего?..— спросил Моррис. И объяснил мне: «Сам понимаешь, как мне могло прийти на ум, что он спрашивает о кольце Идибаль?»

Священник внимательно посмотрел на его руки и приказал: — Покажите это кольцо.

Моррис хотел воспротивиться; потом показал кольцо.

Священник повел его в ризницу и попросил изложить суть дела. Выслушал рассказ, не возражая. Моррис пояснил: «Как более или менее ловкую выдумку; я стал уверять, что не собираюсь обманывать его, что он услышал чистую правду, мою исповедь». Убедившись, что Моррис больше ничего говорить не будет, священник рассердился и закончил беседу. Сказал, что постарается что-нибудь сделать.

Выйдя из церкви, Моррис стал искать улицу Ривадавии. Он остановился перед двумя башнями, похожими на вход

в замок или старинный город; на деле это был вход в пустоту, теряющуюся в бесконечном мраке. Ему чудилось, будто его окружает какой-то зловещий, сверхъестественный Буэнос-Айрес. Он прошел несколько кварталов; устал, добрался до Ривадавии, взял такси и назвал свой адрес: улица Боливара, 971.

Он отпустил такси на углу улиц Независимости и Боливара; подошел к двери дома. Еще не было двух. Времени оставалось достаточно.

Он хотел вставить ключ в замок; ничего не получилось. Нажал кнопку звонка. Никто не открывал; пробежали десять минут. Он возмутился тем, что служанка, воспользовавшись его отсутствием — его бедой,— ночует не дома. Изо всей силы нажал звонок. Услыхал доносившийся как будто очень издалека шум; потом уловил приближавшийся ритмичный стук шагов — один громкий, другой приглушенный. Появилась мужская фигура, в полумраке казавшаяся огромной. Моррис опустил поля шляпы и отступил в темный угол подъезда. Он сразу узнал этого взбешенного, сонного человека и подумал, уж не спит ли он сам. Да, да, хромой Гримальди, Карлос Гримальди. Теперь он вспомнил это имя. Теперь, как ни невероятно, он стоял перед жильцом, занимавшим дом, когда его купил отец Морриса, более пятнадцати лет назад. Гримальди грубо спросил: — Чего надо?

Моррис вспомнил, на какие только хитрости не пускался этот человек, упорно не желая уезжать из дома, вспомнил бессильное негодование отца, который то грозился, что «вывезет его на свалку», то осыпал подарками, лишь бы тот убрался с глаз.

— Дома сеньорита Кармен Соарес? — спросил Моррис, «чтобы выиграть время».

Гримальди выругался, захлопнул дверь, погасил свет. В темноте Моррис услышал, как удаляются неровные шаги; потом, дребезжа стеклами, гремя колесами, проехал трамвай, потом наступила тишина. Моррис с облегчением подумал: «Не узнал он меня». Но тут же испытал стыд, удивление, негодование. Ему хотелось вышибить ногой дверь,

выгнать этого наглеца. Словно пьяный, он заорал во все горло: «Да я в полицию заявлю!» И вдруг, забыв о Гримальди, задумался, что, собственно, означает эта враждебность, какую один за другим проявили к нему все его товарищи. Он решил посоветоваться со мной.

Если застанет меня дома, то еще успеет рассказать обо всем, что произошло. Он остановил такси и велел везти его в проезд Оуэна. Шофер о таком никогда не слышал. Моррис сердито спросил, чему только их учат. Он был зол на всех: на полицию, которая позволяет, чтобы в наши дома врывались всякие проходимцы; на иностранцев, которые портят нашу страну и не умеют водить машину. Шофер предложил ему взять другое такси. Моррис велел ему ехать по улице Велеса Сарсфильда и пересечь железнодорожные пути.

Тут их задержали шлагбаумы; по путям маневрировали бесконечно длинные серые поезда. Моррис велел объехать станцию Сола по улице Толл. Вышел на углу улиц Австралии и Лусурьяги. Шофер потребовал, чтобы он заплатил, не может он ждать его, нет здесь такого проезда. Моррис не ответил, он уверенно зашагал по улице Лусурьяги на юг. Шофер ехал за ним, ругаясь на чем свет стоит. Моррис подумал, что, попадись навстречу полицейский, оба они будут ночевать в участке.

— Кроме того,— сказал я,— выяснилось бы, что ты сбежал из госпиталя. У сиделки и всех, кто тебе помогал, были бы неприятности.— Это меня мало беспокоило,— отмахнулся Моррис и продолжал рассказ.

Он прошел квартал — проезда не было. Прошел другой квартал, третий. Шофер по-прежнему ругался; не так громко, но с еще большей издевкой. Моррис зашагал обратно, свернул на Альварадо, дальше был парк Перейра, потом улица Рочадале. Он пошел по Рочадале; в середине квартала, справа, дома должны были расступиться и открыть проезд Оуэна. Моррис почувствовал, что сейчас ему станет дурно: дома не расступались, он оказался на улице Австралии. Высоко, на фоне ночных туч он увидел водонапорную

башню, стоявшую на Лусурьяги,— проезд Оуэна должен быть напротив, его не было. Моррис взглянул на часы. Оставалось едва лишь двадцать минут.

Он пустился чуть не бегом. Но тут же увяз в глубокой, скользкой грязи перед рядом одинаковых мрачных домишек, сам не понимая, где он. Хотел вернуться к парку Перейра, не нашел его. Моррис боялся, как бы шофер не понял, что он заблудился. Тут он увидел прохожего, спросил у него, где проезд Оуэна. Человек жил в другом районе. Моррис в отчаянии двинулся дальше. Показался другой прохожий. Моррис бросился к нему. Шофер выскочил из машины и тоже подбежал. Моррис и шофер, крича во все горло, стали добиваться, не знает ли прохожий, куда девался проезд Оуэна. Человек перепугался, очевидно приняв их за грабителей. Он ответил, что никогда не слышал о таком проезде, хотел еще что-то сказать, но Моррис грозно посмотрел на него. Было уже четверть четвертого. Моррис велел шоферу везти его на угол Касероса и Энтре-Риос.

У госпиталя стоял другой часовой. Моррис раза два прошелся перед дверью, не смея войти. Наконец решился испытать судьбу: показал кольцо. Часовой пропустил его.

Сиделка появилась только на следующий вечер.

Она сказала: — На сеньора из церкви ты произвел неблагоприятное впечатление. Ему пришлось принять твой обман: всегда он порицает за это членов содружества. Но твое недоверие оскорбило его.

Она сомневалась, что сеньор действительно выступит в пользу Морриса. Положение осложнялось. Надежды выдать его за иностранца улетучились, жизни его грозила прямая опасность.

Моррис написал подробнейший отчет обо всем, что произошло, и послал его мне. Теперь он хотел передо мной оправдаться: сказал, что женщина извела его своими волнениями. Возможно, он и сам стал волноваться.

Идибаль еще раз посетила сеньора; из доброго отношения к ней — «шпион не лишен привлекательности» — он обещал, что «самые влиятельные силы решительно вмешают-

ся в дело». План заключался в том, чтобы обязать Морриса наглядно восстановить события; другими словами, ему дадут самолет и разрешат воспроизвести испытание, которое он якобы проводил в день аварии.

Влиятельные силы взяли верх, но самолет, предназначенный для испытания, будет двухместным. Это затрудняло вторую часть плана: бегство Морриса в Уругвай. Моррис сказал, что с сопровождающим справиться сумеет. Влиятельные силы настояли, чтобы выделен был точно такой же моноплан, как тот, что потерпел аварию.

Идибаль целую неделю изводила его своими надеждами и тревогами, но вот наконец пришла, сияя от радости, и объявила, что все устроено. Испытание назначено на ближайший четверг (оставалось пять дней). Полетит он один.

Женщина тревожно посмотрела на него и сказала:

— Я буду ждать тебя в Колонии. Как только «оторвешься», бери курс на Уругвай. Обещаешь?

Он пообещал. Повернулся лицом к стене и сделал вид, будто заснул. «Понимаешь,— объяснил он,— она словно заставляла меня жениться, и я разозлился». Он и не подозревал, что они прощаются навеки.

Моррис был уже здоров, и на следующий день его перевели в казарму.

— Чудесные были дни,— сказал он,— знай себе пили мате или пропускали рюмочку с часовыми.— Не хватало еще, чтобы вы играли в труко*,— сказал я.

Это было просто наитием. Разумеется, я не мог знать, играли они или нет.

— Что ж, и в картишки раз-другой перекинулись.

Я был поражен. Очевидно, случай или обстоятельства сделали Морриса образцом аргентинца. Вот уж не думал, что он станет носителем местного колорита.

— Можешь считать меня болваном,— продолжал Иренео,— но я часами мечтал об этой женщине. Так с ума сходил, что в конце концов подумал, будто забыл ее.

— Пытался вспомнить ее лицо и не мог? — спросил я.

* Карточная игра.

— Как ты догадался?

Не дожидаясь ответа, он стал рассказывать дальше.

Дождливым утром его высадили из какого-то допотопного автомобиля. В Паломаре его поджидала важная комиссия, состоявшая из военных и чиновников. «Это напоминало дуэль,— сказал Моррис,— дуэль либо казнь». Двое или трое механиков открыли ангар и выкатили истребитель «Девотин», «достойный соперник древнего автомобиля».

Он запустил двигатель, увидел, что горючего едва хватит на десять минут полета; лететь в Уругвай было невозможно. На минуту ему стало грустно. С печалью он подумал, что, пожалуй, лучше умереть, чем жить рабом. Хитроумный замысел провалился; лететь бесполезно, он хотел было позвать этих людей и сказать им: «Сеньоры, дело кончено». Но равнодушно предоставил событиям идти своим чередом. Решил еще раз испробовать новую схему испытаний.

Самолет пробежал каких-нибудь пятьсот метров и оторвался от земли. Он точно выполнил первую часть испытания, но едва перешел к новым методам, как опять почувствовал дурноту и услышал собственную жалобу на то, что теряет сознание. Перед самой посадкой успел выровнять самолет.

Когда он пришел в себя, все тело у него болело, он лежал на белой койке, в высокой комнате с белесыми голыми стенами. Он понял, что ранен, что его задержали, что находится в Военном госпитале. Он спросил себя, не было ли все это галлюцинацией.

Я уточнил его мысль: — Ты принял за галлюцинацию то, что увидел, когда очнулся.

Моррис узнал, что авария произошла 31 августа. Он потерял всякое представление о времени. Прошло три или четыре дня. Он порадовался, что Идибаль в Колонии: ему было стыдно за новую аварию; к тому же она упрекнула бы его, почему он не полетел сразу в Уругвай.

«Когда она узнает про аварию, обязательно вернется. Надо подождать два-три дня»,— подумал он.

За ним ухаживала другая сиделка. Вечера они проводили, держась за руки.

Идибаль не возвращалась. Моррис начал беспокоиться. Как-то ночью его охватила мучительная тревога. «Считай меня сумасшедшим,— сказал он.— Я хотел видеть ее. Я подумал, что она вернулась, узнала про другую сиделку и теперь не хочет меня видеть».

Он попросил фельдшера позвать Идибаль. Много времени спустя (это было той же ночью, Моррис поверить не мог, что ночь тянулась так долго) фельдшер вернулся; начальник сказал ему, что в госпитале не работает ни одна женщина с таким именем. Моррис попросил выяснить, когда она оставила свое место. Фельдшер вернулся утром и сказал, что начальник уже ушел.

Ему снилась Идибаль. Днем он мечтал о ней. Потом он видел сон, что не может найти ее. В конце концов он не мог уже не мечтать о ней, не видеть ее во сне.

Ему сказали, что никакая Идибаль «не работает и никогда не работала в госпитале».

Новая сиделка посоветовала ему читать. Ему принесли газеты. Даже отдел спорта его не интересовал. «Тут мне взбрело на ум попросить книги, которые ты мне прислал в прошлый раз». Ему ответили, что никто никаких книг ему не присылал.

(Я чуть не совершил оплошность: хотел подтвердить, что и впрямь ничего не присылал ему.)

Он решил, что о плане бегства и участии в нем Идибаль стало известно; поэтому Идибаль не появлялась. Осмотрел свои руки: кольца не было. Он попросил вернуть кольцо. Ему сказали, что уже поздно, служащие ушли. Он провел мучительную бессонную ночь в страхе, что ему никогда не отдадут кольцо...

— Ты боялся,— добавил я,— что, если тебе не вернут кольцо, ты потеряешь всякий след Идибаль.— Об этом я не думал,— честно признался он.— Просто провел безумную ночь. Наутро мне принесли кольцо.— И оно у тебя? — спросил я с недоверием, удивившим меня самого.— Да,— ответил он.— В надежном месте.

Он открыл боковой ящик письменного стола и достал

кольцо. Камень был необыкновенно прозрачный, не очень блестящий. В глубине его можно было рассмотреть цветной горельеф: человеческий — женский — торс с лошадиной головой; я подумал, что это изображение какого-нибудь древнего божества. Хотя я и не знаток в этих делах, смею утверждать, что кольцо представляло большую ценность.

Как-то утром в палату явились несколько офицеров и с ними солдат, который нес стол. Солдат поставил стол и вышел. Вернулся с пишущей машинкой, устроил ее на столе, придвинул стул и сел. Потом начал стучать на машинке. Один из офицеров продиктовал: имя — Иренео Моррис, национальность — аргентинец, полк — третий, эскадрилья — девятая, база — Паломар.

Ему показалось естественным, что они обошлись без формальностей, не спрашивали о его имени, ведь это был второй допрос. «Все-таки,— сказал он мне,— положение изменилось к лучшему»; они теперь признали, что он аргентинец, что служит в своем полку, в своей эскадрилье, в Паломаре. Но разумное отношение к нему длилось недолго. Его спросили, где он находился с 23 июня (дата первого испытания), где он оставил «Брегет-304» (номер был не 304, пояснил Моррис, а 309; эта бесцельная ошибка удивила его), где взял этот старый «Девотин»... Когда он сказал, что «Брегет» должен быть здесь неподалеку, поскольку авария 23 июня произошла в Паломаре, а где он взял «Девотин», они уж наверняка знают, поскольку сами дали его, чтобы он воспроизвел испытание, офицеры притворились, будто не верят ему.

Но они уже не притворялись, будто не знают его и считают шпионом. Его обвиняли в том, что с 23 июня он находился в чужой стране; его обвиняли — понял он с новой вспышкой ярости — в том, что он продал чужой стране секретное оружие. Непостижимый заговор продолжался, но обвинители изменили тактику.

Пришел оживленный, полный дружелюбия лейтенант Виера; Моррис осыпал его бранью. Виера изобразил величайшее изумление; в конце концов заявил, что они будут драться.

— Я подумал, что дела пошли лучше,— сказал Моррис,— предатели снова выдают себя за друзей.

Его навестил генерал Уэт. Даже Крамер навестил его. Моррис был несколько рассеян и не успел ничего сказать. Крамер сразу крикнул: «Не верю, брат, ни одному слову не верю в этих обвинениях». Они сердечно обнялись. «Когда-нибудь все выяснится»,— подумал Моррис. Он попросил Крамера зайти ко мне. Тут я решился спросить: — Скажи-ка, Моррис, не помнишь, какие книги я прислал тебе? — Названий не помню,— серьезно проговорил он.— В твоей записке все перечислено.

Не писал я ему никакой записки.

Я помог ему дойти до спальни. Он вытащил из ящика ночного столика листок почтовой бумаги (почтовой бумаги, мне незнакомой) и протянул мне.

Почерк выглядел неумелой подделкой под мой. Я пишу заглавные Т и Е, как печатные; тут они были с наклоном вправо. Я прочел: «Извещаю о получении вашего сообщения от 16-го с большим опозданием, должно быть, из-за странной ошибки в адресе. Я живу не в проезде «Оуэн», а на улице Миранда в квартале Наска. Уверяю вас, я прочел ваш рассказ с огромным интересом. Сейчас я вас навестить не могу, заболел; но надеюсь при помощи заботливых женских рук вскоре поправиться и тогда буду иметь удовольствие с вами встретиться.

В знак понимания посылаю вам эти книги Бланки и советую прочесть в томе третьем поэму, которая начинается на странице 281».

Я простился с Моррисом. Пообещал ему прийти на следующей неделе. Дело меня чрезвычайно заинтересовало и озадачило. Я не сомневался в правдивости Морриса, но я не писал ему этого письма, я никогда не посылал ему книг, я не знал сочинений Бланки.

По поводу «моего письма» должен сделать следующие замечания: 1) Его автор обращается к Моррису на «вы», к счастью, Моррис не очень искушен в писании писем, он не заметил этой перемены и не обиделся на меня, ведь я

всегда говорил ему «ты». 2) Клянусь, что неповинен во фразе «Извещаю о получении вашего сообщения». 3) Меня удивило, что Оуэн написано в кавычках, и я обращаю на это внимание читателя.

Мое незнакомство с сочинениями Бланки можно объяснить принятым мною планом чтения. Еще в очень юном возрасте я понял, что если я не хочу утонуть в книжном море, но все же намерен овладеть, хотя бы поверхностно, разносторонней культурой, необходимо выработать план чтения. Этот план размечает как бы вехами всю мою жизнь: одно время я занимался философией, потом французской литературой, потом естественными науками, потом древней литературой, особенно валлийской (тут сказалось влияние отца Морриса). Медицина включалась в этот план, никогда его не нарушая.

Незадолго до визита ко мне лейтенанта Крамера я закончил знакомство с оккультными науками. Я изучил сочинения Паппа, Рише, Ломона, Станислава де Гуаита, Лабугля, епископа Ларошельского, Лоджа, Огдена, Альберта Великого. Особенно интересовал меня вопрос появления и исчезновения призраков; по этому поводу я всегда вспоминаю случай сэра Даниэля Сладж Хоума; по приглашению лондонского Society for Psychical Researches* в собрании, состоявшем исключительно из баронетов, он проделал несколько пассов, предназначенных изгонять призраки, и тут же скончался. Что же касается этих новоявленных пророков, которые исчезают, не оставляя ни следов, ни трупов, то тут я позволю себе усомниться.

«Тайна» письма побудила меня прочесть сочинения Бланки (автора, мне незнакомого). Я нашел его имя в энциклопедии и убедился, что писал он на политические темы. Этим я остался доволен: вслед за оккультными науками у меня шли политика и социология. Мой план предусматривал такие резкие переходы, чтобы мысль не тупела, следуя долгое время в одном направлении.

Однажды утром я нашел в захудалой книжной лавке на

* Общества медиумических исследований (*англ.*).

улице Корриентес пропылившуюся связку книг в темных кожаных переплетах с золотым тиснением: полное собрание сочинений Бланки. Я купил его за пятнадцать песо.

На странице 281 этого издания никакой поэмы не было. Хотя я и не прочел все сочинения целиком, полагаю, что речь шла о поэме в прозе «L'Eternité par les Astres»*, в моем издании она начиналась на странице 307 второго тома.

В этой поэме или эссе я нашел объяснение тому, что произошло с Моррисом.

Я побывал в Наске, поговорил с тамошними торговцами: в двух кварталах, окружающих улицу Миранда, не живет ни один человек, носящий мое имя.

Побывал на улице Маркес, нет там номера 6890; нет никакой церкви; мягкий поэтичный свет озарял — в тот день — свежие зеленые луга и прозрачные кусты сирени. Улица отнюдь не находится рядом с мастерскими Западной железной дороги. Она проходит рядом с мостом Нория.

Побывал я и возле мастерских Западной железной дороги. Нелегко было обойти их по улице Хуана Б. Хусто-и-Гаона. Я расспросил, как выйти по ту сторону мастерских. «Идите по Ривадавии,— сказали мне,— до Куско. Потом перейдете через пути». Как и следовало ожидать, никакой улицы Маркес там не было, улица, которую Моррис называл Маркес, оказалась улицей Биннон. Правда, ни под номером 6890, ни вообще на всей этой улице церкви нет. Поблизости, на Куско, есть церковь святого Каетана, это значения не имеет, она не похожа на церковь из рассказа Морриса. Отсутствие церкви на улице Биннон не поколебало моего предположения, что именно об этой улице вспоминал Моррис... Но об этом позже.

Нашел я также две башни, которые мой друг якобы видел в открытой безлюдной местности: то был портик Атлетического клуба имени Велеса Сарсфильда на улице Фрагейро-и-Баррагана.

Специально посещать проезд Оуэна было незачем: ведь я в нем живу. Подозреваю, что, когда Моррис заблудился,

* «От звезд к вечности» (*франц.*).

он стоял перед мрачно однообразными домишками рабочего района Монсеньор Эспиноса, а ноги его увязли в глине улицы Пердриэль.

Я навестил Морриса еще раз. Спросил, как ему кажется, не проходил ли он по улице Гамилькара или Ганнибала во время достопамятного ночного путешествия. Он заявил, что слыхом не слыхал о таких улицах. Тогда я спросил, не было ли в той церкви какого-нибудь символического изображения рядом с крестом. Он помолчал, пристально глядя на меня. Наверно, решил, что я шучу. Наконец спросил: — С чего бы я стал обращать на это внимание?

Я согласился.

— И однако, было бы очень важно...— продолжал я настаивать.— Напряги память. Постарайся вспомнить, не видел ли ты какой-нибудь фигуры рядом с крестом.— Может быть...— пробормотал он,— может быть, там была...— Трапеция? — подсказал я.— Да, трапеция,— с полным убеждением сказал он.

— Простая или перечеркнутая поперек линией?

— Правда! — воскликнул он.— Откуда ты знаешь? Ты был на улице Маркес? Сначала я ничего не мог вспомнить... И вдруг увидел все вместе: крест и трапецию; трапецию, перечеркнутую двойной линией.

Он говорил очень возбужденно.

— А на статуи святых ты не обратил внимания?

— Брось, старина,— нетерпеливо отмахнулся Моррис,— уж не хочешь ли, чтобы я тебе составил опись?

Я уговорил его не сердиться. Когда он успокоился, я попросил еще раз показать мне кольцо и напомнить имя сиделки.

Домой я вернулся в отличном настроении. Мне послышался какой-то шум в комнате племянницы; должно быть, приводила в порядок свои вещи. Я постарался двигаться тихонько, чтобы она не заметила моего прихода. Взял томик Бланки, сунул его под мышку и вышел на улицу.

Я сел на скамейку в парке Перейра. Еще раз прочел нужный мне отрывок: «Существуют бесчисленные одинако-

вые миры, бесчисленные похожие миры, бесчисленные миры, совершенно отличные друг от друга. То, что я пишу сейчас в темнице крепости Торо, я писал и буду писать на протяжении вечности за столом, на бумаге, в темнице, точно таких же, как эти. В бесчисленных мирах положение мое будет неизменно, но, быть может, причина моего заточения постепенно утратит свое благородство, станет позорной, либо, напротив, как знать, мои строки приобретут в иных мирах бесспорное величие удачно найденного слова».

23 июня Моррис упал со своим «Брегетом» в Буэнос-Айресе иного мира, почти такого же, как наш. Помрачение ума, вызванное аварией, помешало ему заметить первые явные отличия; для того чтобы заметить другие, более скрытые, требовались сообразительность и познания, которыми Моррис не обладал.

Он начал полет дождливым серым утром; когда он потерпел аварию, сиял солнечный день. Гудение шмеля в госпитале доказывает, что было лето. «Изнурительная жара», угнетавшая его во время допросов, это подтверждает.

В своем рассказе Моррис дал кое-какие особые приметы того, иного мира. Там, например, начисто отсутствовал Уэльс; улиц с валлийскими названиями в том Буэнос-Айресе не было: Биннон превратилась в Маркес, а Моррис, запутавшись во мраке ночи и собственного сознания, тщетно разыскивал проезд Оуэна... И я, и Виера, и Крамер, и Маргариде, и Фаверио там существовали, потому что в нас нет ничего валлийского, генерал Уэт да и сам Иренео Моррис (он проник туда случайно), оба валлийского происхождения, не существовали. Тамошний Карлос Альберто Сервиан в своем письме написал слово «Оуэн» в кавычках, потому что оно показалось ему странным; по той же причине офицеры рассмеялись, когда Моррис назвал свое имя.

И раз Моррисы там не существовали, на улице Боливара, 971 по-прежнему жил бессменный Гримальди.

Из рассказа Морриса стало также ясно, что в том мире еще не исчез Карфаген. Поняв это, я и задал ему глупый вопрос об улицах Ганнибала и Гамилькара.

Меня могут спросить, каким же образом, если еще не исчез Карфаген, существовал испанский язык. Следует ли напоминать, что между расцветом и полным исчезновением бывает ряд переходных ступеней?

Кольцо является двойным доказательством. Оно доказывает, что Моррис побывал в ином мире: ни один из множества привлеченных мной экспертов не распознал камень. И еще оно доказывает существование (в том, ином мире) Карфагена: лошадь — карфагенский символ. Кто же не видел подобные кольца в музее Лавижери?

Кроме того, Идибаль или Иддибаль, имя сиделки,— карфагенское; бассейн с ритуальными рыбами и перечеркнутая трапеция — карфагенские, наконец — horresco referens*,— существуют «содружества», или circule**, тоже карфагенские и столь же зловеще памятные, как ненасытный Молох...

Но вернемся к здравому размышлению. Я спрашиваю себя, купил я сочинения Бланки, потому что они упоминались в показанном мне Моррисом письме, или же потому, что истории этих двух миров параллельны? Поскольку Моррисов там нет, то и кельтские легенды не входят в план чтения; другой Карлос Альберто Сервиан мог опередить меня; мог раньше, чем я, приступить к чтению политических трудов.

Я горжусь им: так мало было у него данных, и все же он объяснил таинственное появление Морриса; желая, чтобы и Моррис это понял, он посоветовал ему прочесть «От звезд к вечности». Меня удивляет все же, почему он хвалится тем, что живет в мерзком районе Наска и не знает проезда Оуэна.

Моррис побывал в ином мире и вернулся. Он не прибегнул ни к моему ядру с рессорами, ни к какому-либо другому средству передвижения, придуманному, дабы бороздить неведомые астрономические пространства. Как же он проделал свой путь? Я открыл словарь Кента; на слове «пасс»

* страшно рассказывать (*лат.*).
** кружки (*лат.*).

я прочел: «Сложные движения рук, которые вызывают появление и исчезновение призраков». Я подумал, что при этом необязательно нужны руки, движения можно проделать и чем-нибудь другим, например, элеронами самолета.

Моя мысль заключается в том, что «новая схема испытаний» соответствует некоему пассу (оба раза, что Моррис применял ее, он терял сознание и попадал в другой мир).

Там заподозрили, что он шпион, явившийся из соседней страны, здесь объяснили его отсутствие бегством за границу с целью продать секретное оружие. Моррис ничего не мог понять и посчитал себя жертвой коварного заговора.

Вернувшись домой, я нашел у себя на письменном столе записку от племянницы. Она сообщала мне, что собирается бежать с этим раскаявшимся предателем, лейтенантом Крамером. И имела жестокость добавить: «Утешаю себя тем, что ты не слишком огорчишься, ведь ты никогда обо мне не думал». Последняя строчка была написана с явным злорадством: «Крамер думает только обо мне, я счастлива».

Я впал в полное уныние, перестал принимать больных и больше трех недель не выходил на улицу. Я подумал с некоторой завистью о своем астральном «я», о том, кто тоже сидит дома, но пользуется уходом «заботливых женских рук». Мне кажется, я знаю его нежную помощницу; мне кажется, я знаю эти руки.

Я навестил Морриса. Попытался рассказать ему о своей племяннице (я готов был непрерывно говорить о своей племяннице). Он спросил, отличалась ли эта девушка материнской добротой. Я сказал, что нет. Тогда он заговорил о сиделке.

Должен сказать, что отнюдь не представившаяся мне возможность встретиться с новым вариантом самого себя побуждала меня совершить путешествие в тот, иной Буэнос-Айрес. Мысль воспроизвести себя согласно картинке на моем экслибрисе или познать себя согласно его девизу меня не соблазняла. Меня скорее всего соблазняла мысль воспользоваться опытом, который другому Сервиану, в его счастливой жизни, был недоступен.

Но все это мои личные дела. А вот положение Морриса меня беспокоило всерьез. Здесь его знали и хотели разобраться в деле совершенно беспристрастно; но он упорно и однообразно все отрицал, и его мнимое недоверие озлобило начальников. В будущем ему грозило разжалование, если не расстрел.

Попроси я у него подаренное сиделкой кольцо, он бы его мне не дал. Чуждый подобного рода идеям, он никогда не понял бы, что человечество имеет право на такое доказательство существования иных миров. Должен еще признаться, что Моррис питал какую-то безрассудную страсть к этому кольцу. Возможно, мой поступок оскорбит чувства джентльмена, совесть гуманиста его оправдает. Наконец, мне приятно рассказать о неожиданном результате: после потери кольца Моррис стал охотнее выслушивать мои планы бегства.

Мы, армяне, едины. Внутри общества мы образуем несокрушимое ядро. У меня есть друзья в армии. Моррис получит возможность воспроизвести свое испытание. Я отважусь сопровождать его.

K.A.C.

Рассказ Карлоса Альберто Сервиана мне показался неправдоподобным. Я знаю старинную легенду о колеснице Моргана: путник говорит, куда он хочет попасть, и колесница несет его, но ведь это легенда. Допустим, что по случайности капитан Иренео Моррис попал в иной мир; но для того чтобы он вернулся в наш мир, потребовалось бы уж чересчур много случайностей. К такому мнению я пришел сразу. Факты подтвердили его.

Давно уже мы с группой друзей задумали путешествие на границу Уругвая и Бразилии, но откладывали его. В этом году мы наконец собрались и отправились в путь.

Третьего апреля мы завтракали в кабачке при сельском магазине, а потом хотели осмотреть одно интереснейшее поместье.

Тут подъехал окутанный облаком пыли длинный «пак-

кард», из него вышел человек, похожий на жокея. То был капитан Моррис.

Он щедро расплатился за своих соотечественников и выпил с ними. Потом я узнал, что он не то секретарь, не то подручный крупного контрабандиста.

Я не пошел вместе с друзьями осматривать поместье. Моррис принялся рассказывать мне о своих похождениях: перестрелки с полицией; хитроумные способы обманывать правосудие и устранять соперников; переправы через реки вплавь, держась за хвост лошади; вино и женщины... Без сомнения, он преувеличивал свою ловкость и отвагу. Но однообразие его рассказов преувеличить трудно.

Вдруг меня словно осенило, очевидно, я нашел разгадку. Я начал расспрашивать. Расспросил Морриса, расспросил других, когда Моррис уехал.

Я собрал доказательства, что Моррис появился здесь в середине июня прошлого года, его часто видели в окру́ге между началом сентября и концом декабря. 8 сентября он участвовал в скачках в Ягуарао, потом много дней провел в постели, после падения с лошади.

Однако в те же дни сентября капитан Моррис был задержан и помещен в Военный госпиталь Буэнос-Айреса: военные власти, товарищи по оружию, друзья детства — доктор Сервиан и ставший тогда капитаном Крамер,— генерал Уэт, старый друг семьи, это подтверждают.

Объяснение очевидно:

В разных, почти одинаковых мирах разные капитаны Моррисы приступили в один и тот же день (а именно 23 июня) к испытанию самолета. Наш Моррис бежал в Уругвай или Бразилию. Другой, вылетевший из другого Буэнос-Айреса, проделал некие «пассы» своим самолетом и оказался в Буэнос-Айресе иного мира (где не было Уэльса, но был Карфаген, где ждала Идибаль). Этот Иренео Моррис вылетел затем на «Девотине», снова проделал «пассы» и упал в нашем Буэнос-Айресе. Поскольку он был точно подобен другому Моррису, их спутали даже друзья. Но он был другим человеком. Наш (тот, что сейчас в Бразилии) совершил полет 23

июня на «Брегете-304»; другой отлично помнил, что испытывал «Брегет-309». Потом, взяв в спутники доктора Сервиана, он снова проделал «пассы» и исчез. Как знать, может, они и попали в иной мир; менее вероятно, что они нашли племянницу доктора Сервиана и карфагенянку.

Ссылка на Бланки, чтобы поддержать теорию множественности миров, была, возможно, заслугой Сервиана; я, человек более ограниченный, хочу обратиться к авторитету классика, а именно: «Согласно Демокриту, существует бесконечное множество миров, из коих многие не только подобны, но совершенно равны друг другу» (Ciceron. Academica priora, II, XVII); или же: «Будучи здесь, в Баули, близ Поццуоли, не думаешь ли ты, что в бесчисленном множестве точно таких же мест собрались люди, которые носят те же имена, что и мы, облечены теми же почестями, прошли через те же обстоятельства, равны нам по уму, возрасту и внешнему виду и обсуждают ту же тему?» (там же, II, XL).

Наконец, читателям, которые привыкли к древнему понятию миров планетарных и сферических, эти путешествия между Буэнос-Айресами разных миров могут показаться невероятными. Они спросят, почему путники попадают всегда в Буэнос-Айрес, а не в другие города, не в моря или пустыни. Единственным ответом на вопрос, столь далекий от моей компетенции, будет предположение, что миры эти подобны связкам параллельных времен и пространств.

Пауки и мухи

Они поженились по любви. Рауль Хихена был уверен, что самое надежное место в мире — родительский дом, но Андреа, его жена, сказала: чтобы навсегда сберечь их любовь, надо жить одним. Он не хотел ей перечить и решил уехать из родной провинции, устраиваться на свой страх и риск. Через одного родственника, связанного с виноторговлей, ему удалось стать посредником по продаже вин; он забрал из

банка все сбережения и вместе с женой отправился в Буэнос-Айрес. Там Рауль задумал сразу же купить дом — отчасти, чтобы порадовать жену, а отчасти, чтобы со смыслом поместить капитал: в те времена считалось, что деньги, ушедшие на оплату квартир и пансионов, пропадают впустую. Они никого не знали, открывали для себя огромный город, были молоды и влюблены; о поисках дома они вспоминали с удовольствием. В районе Рамос-Мехия они нашли старый каретный сарай, который легко можно было бы превратить в удобное жилище; сарай прежде принадлежал какому-то поместью и продавался вместе с маленьким садом, где росло апельсиновое дерево, удивительно нарядное, в ту пору сплошь покрытое цветами. Восемь дней они толковали о каретном сарае, о том, как перестроят его, как там поселятся; за него просили дорого, но Рауль уже готов был согласиться, когда им предложили большой заброшенный дом на улице Крамер, в двух шагах от станции Колехьялес, на условиях, которые показались ему весьма соблазнительными.

В конце концов дом перевесил, ибо его явные недостатки таили в себе столь же неоспоримые достоинства. Вид на железнодорожные пути отнюдь не радовал глаз, все время слышался грохот поездов, даже полы дрожали — к этому предстояло привыкнуть; однако эти неудобства, если рассматривать их беспристрастно, словно несли в себе шифрованное послание, сообщавшее покупателю о важной истине: дорога в центр и обратно для вас не составит труда. Запущенность дома тоже оборачивалась выгодной стороной: несомненно, что цена за изрядный участок земли, лежащий в прекрасном районе столицы, окажется вполне умеренной.

Андреа позволила себя убедить; она больше не вспоминала о каретном сарае, думала только, как привести в порядок огромный дом.— Мы отделаем лишь часть здания,— объясняла она,— но эту часть изменим полностью. Там не останется ни следа от прежних обитателей. Поди знай, какие флюиды веют в доме.

Хотя они устроились в трех комнатах, а остальные закрыли, денег ушло немало. Жилые комнаты получились очень

милыми, но само существование других — пустых и закрытых — удручало молодую женщину. Рауль и тут нашел выход.— Я понимаю твое состояние,— сказал он.— Мы точно живем в доме, полном привидений. Я придумал, что надо сделать. Давай на какое-то время сдадим эти комнаты жильцам. Главное, что в доме больше не будет пустых помещений, к тому же мы восполним затраты.

Они перенесли свои вещи наверх, а низ решили сдавать. Андреа смирилась. Они уже не будут одни, но жить вместе с чужими, случайными людьми — совсем не то, что жить с родственниками, которые считают себя вправе руководить нами и высказывать свое мнение по любому поводу. Следуя непрерывным указаниям мужа, Андреа вела хозяйство очень экономно. Вскоре они стали получать изрядную прибыль. Дело было не только в предприимчивости и аккуратности Рауля; Андреа восхитительно обставила комнаты, оказалась удивительной хозяйкой и кухаркой и — что, пожалуй, самое главное — отличалась редким обаянием; мягкая, молодая, красивая, она пленяла всех; характер у нее был ровный, она никогда не жаловалась, только иной раз упрекала мужа: — Ты слишком надолго оставляешь меня одну.

Когда Рауль выполнит обещание и бросит виноторговлю, им не придется больше разлучаться по вечерам. Хотя особой нужды в комиссионных не было — пансион приносил неплохой доход,— Раулю было жаль отказываться от них, потому что деньги так и плыли к нему в руки. Пытаясь убедить жену, он объяснял: «Это заработок, достающийся без труда». Здесь он кривил душой, ибо по вечерам возвращался мертвый от усталости, падал в постель рядом с женой и мгновенно засыпал. Не будем считать его человеком, накликающим на себя беду; несомненно, он был счастлив.

Первым жильцом оказался Атилио Галимберти, «наш галантный Галимберти», как метко называл его другой постоялец, по фамилии Хертц. Довольно молодой, приятной наружности, Галимберти работал в магазине, дважды в неделю играл в теннис, судя по всему, имел немалый вес в проф-

союзе и пользовался в квартале славой донжуана («Это настоящий дамский лев»,— иронизировал Хертц.) Андреа не могла простить Галимберти, что, украшая комнату фотографиями своих поклонниц, он перепортил стены гвоздями. Виновный по этому поводу замечал:— Все женщины одинаковы. Хозяйке обидно, что нет ее фотографий.

Рауль, со своей стороны, предупреждал ее: — Не позволяй ни жильцам, ни кому-либо другому взять над тобой верх. Этот мир делится на пауков и мух. Постараемся же быть пауками, а не мухами.

— Какой ужас! — восклицала Андреа.

Вскоре в пансионе появился доктор Мансилья, широкоплечий человек с темной кожей и обвислыми усами, типичный креол с виду; он заявлял, что он врач — прежде занимался траволечением,— и решительно отрицал тезис о том, что атом — предел всему. Его девизом было «Всегда можно сделать еще один шаг», и потому он ежедневно садился на поезд и отправлялся в Турдеру, где брал уроки у йога, гадавшего на картах, толковавшего сны и предсказывавшего будущее.

Были еще жильцы, которые быстро сменяли друг друга и заслужили у постоянных обитателей прозвания перелетных ласточек.

Холодным сентябрьским утром в доме появилась сеньорита Элена Якоба Криг в сопровождении пуделька; она восседала в кресле на колесах, которое толкал какой-то юнец. Не позвонив, юнец ввез кресло в прихожую, повернулся и ушел, бросив дверь открытой. Больше его в квартале никогда не видели. У сеньориты были светлые волосы, голубые странные, тесно посаженные глаза, розовая кожа, большой слюнявый рот; красные губы все время двигались, приоткрывая неровные зубы; голландка по национальности, разбитая параличом, лет шестидесяти с лишком, она зарабатывала на жизнь переводами.

Рауль был вынужден обратиться к Элене Якобе Криг со следующими словами: — Мне неприятно отказывать вам, сеньорита, но согласитесь, я отвечаю за порядок в доме,

а собака — животное негигиеничное и портит имущество.

— Если вы имеете в виду Хосефину,— ответила сеньорита Криг,— то вы ошибаетесь. Вам не придется жаловаться. Чтобы успокоить вас, я сейчас проделаю опыт.

Она посмотрела на собачку Хосефину. Почти тотчас животное встало на задние лапки и весело прошагало за дверь; потом вернулось.— Как вы этого добились? — восхищенно спросил Рауль.

Элена Якоба обратила к нему свои тесно посаженные глаза, такие твердые и в то же время нежные, и улыбнулась слюнявым ртом. Помолчав, она ответила: — Терпением. Поверите ли, поначалу собачка меня не любила. Поначалу никто меня не любит. Но постепенно я сумела покорить ее сердце. Ты что-то нашла во мне, верно, Хосефина?

Рауль быстро прикинул, что неприятно отказывать в приюте парализованной старухе, а с другой стороны, если он примет ее, хлопот у него значительно прибавится. Он отвел для новых жильцов комнату внизу, установив за нее особую плату.

Если я не ошибаюсь, появление супругов Хертц совпало с первыми снами Рауля. Об этой паре, жившей за углом — договорившись с Раулем и Андреа, они стали обедать и ужинать в пансионе,— судили по-разному. Для иных старый Хертц, раздражительный и ироничный, гордый местом кассира в кондитерской на улице Кабильдо, был не просто жертвой — он как бы олицетворял мужа-неудачника. Разумеется, Магдалена Хертц была для него слишком молода. Хорошенькая, внешне очень опрятная, она чуралась домашних дел: не стирала белье, стелила кровати раз в неделю, заставляла мужа — пока они не обратились к Хихене — завтракать, обедать и ужинать в молочной. Целыми днями она простаивала у дверей дома, скрестив руки (казалось, руки ее уже и не распрямлялись), и рассеянно глядела на прохожих своими огромными глазами; но как я сказал, были и другие мнения: иные называли мужа типичным старым бесстыдником, обольстившим почти несовершеннолетнюю девушку и вовлекшим ее в брак.

— Неплохо устроился,— замечал Галимберти.— У этого сластены-кондитера всегда под рукой молоденькая курочка, а он еще плачется на судьбу в Немецком клубе.

Со временем пансионный мирок стал походить на большую семью, но Андреа совсем напрасно боялась за свое счастье: их любви ничего не грозило, по крайней мере, вплоть до того момента, как Рауль безо всякой тому причины начал видеть сны. Он вовсе не собирался придавать значения снам, но они упорно повторялись, словно предупреждения, исходящие извне; странные, настойчивые, они слетали из неведомых сфер, и человек менее сильный не преминул бы увидеть в них откровение. По правде сказать, даже Рауль в конце концов стал сомневаться. Он старался, чтобы Андреа ничего не замечала, но как скрыть притворство? Рауль следил за ней, пытаясь застичь врасплох. В течение дня поведение жены доказывало, что она безупречна и предана ему всем сердцем; ночью, в снах, Андреа рисовалась совсем иной; просыпаясь, он порой смотрел на нее как бы со стороны и шептал: «Спит, точно обманщица».

Чтобы не уходить из дому, Рауль серьезно подумывал отказаться от торговых дел. Он проводил в городе вечер за вечером и возвращался в плохом настроении, придирчивый, сердитый. Теперь он почти никогда не бывал ласков с женой, а если это и случалось,— как, например, в тот вечер, когда он застал ее вдвоем с Галимберти за починкой лампы,— голос его звучал фальшиво. Через несколько дней произошла первая неприятность. Возвращаясь из магазина, Андреа проходила мимо дома Хертцев и увидела у дверей Магдалену. Они немного поговорили, и Андреа, против своего обыкновения, вдруг разоткровенничалась.

— Не могу понять, отчего он изменился,— говорила она,— но он стал совсем иным.

— Вы знаете его — как вам кажется, он способен увлечься другой женщиной? — с интересом спросила Магдалена.

— Почему ж нет?

— Вы правы. Я бы и не подумала. Какая я глупая,— отозвалась Магдалена, отводя глаза.

— Иногда кажется, что он вот-вот все мне расскажет, но тут он замолкает, словно не решается. Бог весть что с ним случилось, но его будто подменили. Я ему противна; жалея меня, бедняжка по доброте душевной пытается это скрыть, но напрасно.

Как раз в эту минуту появился Рауль. Он едва поздоровался с Магдаленой и, грубо схватив жену за руку, потащил за собой. Они шли молча; наконец Рауль проговорил приглушенно и злобно: — Сейчас не время сплетничать среди улицы с соседкой, пользующейся сомнительной славой.

Андреа промолчала; ее взгляд был полон недоумения и печали.

Без сомнения, Рауль изменился и сам это чувствовал. Он ездил по делам, думая о жене — о той, какой ночь за ночью она являлась ему в снах. Порой ему хотелось убежать, никогда больше ее не видеть, забыть о ней; порой он обдумывал грозные кары и представлял, правда через силу, как бьет ее по щекам, даже убивает.

Однажды в парикмахерской, листая журналы, он наткнулся на слова: «Сильнее всего грызут нас заботы, которые таишь в себе». Из робости он не вырезал эту фразу, но был уверен, что запомнил ее дословно. И вдруг в нем затеплилась надежда. Он подумал, что если поделится с кем-нибудь своим горем, то сумеет найти выход; но с кем? В Буэнос-Айресе, как оказалось, у него было много клиентов — но не друзей. Самыми близкими были, пожалуй, жильцы пансиона. Хотя ему претило обсуждать с ними поведение жены, он начал прикидывать, с кем можно посоветоваться. Галимберти не станет вникать в суть дела, а сразу примется отыскивать в нем слабые и комичные стороны, чтобы потом высмеять Рауля за его спиной. Старуха Элена Якоба Криг — но кому же приятно делиться секретами со столь мерзким существом? И потом, он не раз подмечал, что она глядит на него, словно угадывая его несчастья, словно радуясь им. Просить совета у Хертца нелепо — этот человек не способен навести порядок в собственном доме. Лучше уж обратиться к Магдалене. Говоря о ней с другими, он без

колебаний осуждал ее как должно, но в душе она ему нравилась. Однако из верности жене он решил ничего ей не говорить. И наконец, оставался Мансилья, тоже не внушавший ему доверия: Рауля смущало поведение этого человека, бросившего медицину ради оккультных наук, ради неведомых, темных тайн.

Но тут случилась новая размолвка.

Когда однажды он собирался в город, Андреа, бледная и дрожащая, еле выговаривая слова, спросила:

— Почему бы нам не поговорить?

— Прекрасно. Давай поговорим,— ответил Рауль саркастическим тоном и прикрыл глаза, дабы показать, что он — само терпение.

Тем временем он думал о том, что его положение крайне шатко. Как объяснить, не рискуя предстать перед женой полным кретином, что все его обвинения и доказательства основываются лишь на снах? Ему страстно захотелось броситься к жене, сжать ее в объятиях и умолять забыть всю эту чепуху; но ведь есть вероятность — пусть слабая, пусть отдаленная,— что его обманывают; значит, надо защищаться. Когда Андреа заговорила, он уже ненавидел ее.

— Если ты любишь другую — скажи, не таи,— начала Андреа.

— Бесстыдница,— ответил Рауль.

Ни одно оскорбление не могло бы ранить ее сильнее. Рауль знал это; понял, что слишком несправедлив, и, не решившись поднять на нее глаза, вышел из дому.

— Ты уходишь, даже не взглянув на меня? — воскликнула Андреа.

Много раз в течение долгих лет Рауль будет вспоминать этот возглас своей жены, жалобный возглас скорби и упрека.

На станции он встретил Мансилью. Они вместе сели в вагон. И вдруг ни с того ни с сего Рауль спросил: — Если вы знаете какого-то человека и поступки его доказывают одно, а по ночам ваши сны доказывают обратное?..

Он остановился. Подумал, что слишком прозрачно намекнул на свои отношения с женой. Мансилья ответил:

— Честно говоря, я что-то не улавливаю.

— Если поведение этого человека,— пояснил Рауль,— доказывает, что он вам друг, а во сне вы видите его врагом, как бы вы поступили? — Во сне! — улыбаясь, отозвался Мансилья.

Рауль побледнел. После этого ответа, сказал он себе, лучше объяснить все как есть. Наблюдая за лицом Мансильи, стараясь угадать его мысли, Рауль рассказал, что с ним случилось. Мансилья уже не улыбался.

Поезд пришел на конечную станцию, Ретиро; они продолжали разговор в кондитерской.

— Давайте по порядку,— сказал Мансилья.— Какие это сны?

— Они ужасны. Не просите меня их вспоминать. Жена обманывает меня со всеми в доме.

— Со всеми в доме? Прекрасно. Но также и с посторонними?

— Да, с посторонними, с незнакомыми тоже.

— Давайте разберемся. Попрошу вас припомнить хоть одного из них. Несдержанный, грубый? Прекрасно. Что вы можете сказать об их одежде?

— Теперь, если подумать, мне кажется, что одеты они как-то странно.

— Как-то странно? Поясните, пожалуйста.

— Не знаю, как вам сказать. Словно это люди из других краев, из другого времени.

— Римляне? Китайские мандарины? Рыцари в доспехах?

— Нет-нет. Люди, одетые как в начале века. И к тому же крестьяне. Сейчас я уверен: это крестьяне в деревянных башмаках. Я так и слышу их тупой смех, стук башмаков по деревянному полу. Это противно до тошноты.

— А где все происходит?

— В нашей комнате. Вы знаете, как бывает во сне: комната наша, но в ней все по-другому.

— Давайте по порядку. Что вы можете сказать о мебели?

— Сейчас соображу. Такую мебель я видел только во сне, в снах, каждую ночь. Как только появляется буфет,

я уже знаю, что сейчас произойдет. Кошмар начинается с буфета.

— Какой он?

— Из темного дерева. Помните картинки из сельской жизни, комнату в деревенском доме, женщина сидит за прялкой? В моих кошмарах наша комната точно такая же. Человек говорит себе: здесь ничего не может произойти, и оттого еще страшнее все, что происходит потом.

— Прекрасно. Еще что-нибудь примечательное?

— Когда я смотрю в окно, я почти никогда не вижу железнодорожные пути. Обычно за окном каналы, низкие, залитые водой поля, море на горизонте.

— Вы жили на берегу моря?

— Какое море? Я из дальней провинции. Никогда не жил на берегу, никогда не видел моря. Я увидел залив Ла-Плата только в Буэнос-Айресе.

— Буду с вами откровенен. Я ничего не могу сделать для вас и могу все. Поймите, вы словно в глубокой яме. Хотите выбраться из нее?

— Еще бы не хотеть.

— Тогда сейчас же поедемте в Турдеру. Уверяю, Сколамьери вас не разочарует. Что я вижу в ваших снах? Я бы сказал, что вы украли их у другого. Что еще? Измена — значит верность. Каналы — плохие друзья. Деревянные башмаки — вы порядком сластолюбивы. Но я тут не авторитет.

— А кто такой Сколамьери?

— Некий сеньор, мой друг, который живет в Турдере. Он занимается йогой, наделен даром толковать сны, учит человека дышать, мало ли что. Посоветуйтесь с ним.

— Знаете, дружище,— ответил Рауль,— не сердитесь, но я сейчас не расположен ни ехать в Турдеру, ни открывать душу йогу или как там зовется этот индус.

Мансилья настаивал, Рауль был тверд; консультацию отложили до другого раза. Когда они расстались, Рауль понял, что сейчас ему не до виноторговли. Он сел в поезд и поехал домой. И еще он понял, что никогда не поедет

к йогу, потому что это ему уже ни к чему. Разговор очень утомил его — он устал больше, чем если бы целый вечер ходил пешком по Буэнос-Айресу, собирая заказы,— но вместе с тем принес облегчение. Пелена спала с его глаз.

Застыв на сиденье, усталый, счастливый и чуть растерянный, он размышлял об опасности, которой подвергался. Ему зримо представлялось недавнее безумие — оно как распавшаяся скорлупа, он высвобождался из нее, он был спасен. Теперь ему не хватит всей жизни, чтобы заслужить прощение жены.

Когда он вышел на станции Колехьялес, ему показалось, будто все как-то странно на него смотрят. Он пошел было домой, но подумал, что если человеку кажется, будто на него странно смотрят,— значит, он не в себе; чтобы все прояснить, он направился к газетчику. Тот тоже посмотрел на него странно.

— Вы еще не знаете, дон Хихена? — спросил он после паузы и указал рукой.— Она перешла вон там, через улицу Хорхе Ньюбери, и упала прямо на рельсы, под электричку, шедшую в Ретиро.

В разговор вмешались другие. Они упоминали про машину «скорой помощи», полицейского комиссара, двух санитаров — один из них немного гнусавил, а второй был сыном некой доньи Рамос, о которой Рауль слышал впервые. А люди утверждали с пеной у рта, что санитар — непременно сын доньи Рамос. Рауль понял, что должен идти в комиссариат, но, словно влекомый непреодолимой силой, направился домой. Он шел, ничего не видя, точно автомат, запомнил только, как при переходе через улицу Федерико Лакросе его обругали из проезжавшего грузовика. А потом он услышал еще один голос, близкий и ласковый. Непонятно как он очутился в комнате сеньориты Криг. Старуха смотрела на него своими тесно посаженными глазами, ее мокрые губы шевелились, показывая неровный ряд зубов, она улыбалась ему и повторяла: — Вы расстроены? Это пройдет.— А вы откуда знаете? — спросил он.— Как же мне не знать? — отвечала старуха.— Я все скажу, дорогой мой друг, только

не сердитесь. Между нами не должно быть недомолвок. Рауль, я вас люблю.

— Сейчас не время,— запротестовал он.

— Самое время,— нежно возразила старуха, и он ощутил ее дыхание.— Я хочу, чтобы вы знали все с самого начала, и хорошее, и плохое. Мне не надо следовать хитрым планам, я ничем не рискую. Уже давно я раскинула свои сети, и уже давно вы попались. Думаете, что живете, как вам хочется, порхаете здесь и там? Пустое. Клянусь, вы попались в сеть, если так можно сказать; вы в моей власти. Не сопротивляйтесь, не сердитесь. Известно ли вам что-нибудь, драгоценный Рауль, о передаче мыслей? Было бы трогательно, если бы вы не поверили, но, впрочем, вы трогательны всегда. Передавать мысли, передавать сны собачке, вроде Хосефины, или людям, вроде вас, вроде вашей жены — одно и то же. Что и говорить, попадаются бунтари, неприятные типы, от которых в конце концов устаешь. Я хотела только, чтобы ваша жена оставила нас в покое. Ни в какую. Не было силы в мире, способной оторвать ее от вас. И все же вы оба, на мой взгляд, не подходите один другому. Андреа была женщиной лирического склада, ей не хватало тех качеств, которые есть у меня, ее характер не гармонировал с вашим, трезвым, материальным. Не упорствуйте, не тратьте слов понапрасну. Не было силы в мире, способной оторвать от вас эту упрямицу,— если не говорить о крайних мерах; потому что подобные характеры, поверьте, всегда готовы прибегать к крайним мерам. Мне пришлось направить вашу жену на рельсы. Хорошо еще, что душа драгоценного Рауля оказалась мягкой и податливой. Я боялась, что он заподозрит неладное, увидев в снах голландские каналы и пригожих молодцов времен моей юности; мне хотелось избавиться от них, но чуть что — и воспоминания возвращались, без сомнения, они оставили в моей душе глубочайший след. Вы обижаетесь на меня за сны, которые я на вас насылала? Это пройдет. Вы еще не любите меня. Поначалу никто меня не любит. Но постепенно я сумею покорить ваше сердце. Вы что-то найдете, правда, Рауль, в своей Элене Якобе?

Теневая сторона

Стоит улицу перейти —
ты уже на теневой стороне.

Милонга* Хуана Феррариса
«Где-то тут, где-то там» (1921)

Я уже так привык к пароходным скрипам, что, проснувшись после дневного сна, сразу ощутил, как тихо стало вокруг. Глянув в иллюминатор, я увидел внизу спокойную гладь воды, а вдали берег в гуще тропической зелени, среди которой я узнал пальмы и, пожалуй, бананы. Я надел полотняный костюм и поднялся на палубу.

Мы стояли на якоре. С левого борта находился порт — там на мощеных причалах среди рельсов, высоких кранов и бесконечных серых пакгаузов по-муравьиному суетились негры; дальше простирался город в окружении крутых лесистых холмов. Шла погрузка — насколько я мог заметить, очень слаженно. С правого борта — если стоять лицом к носу судна — лежал берег, который я видел в иллюминатор, небольшой остров, напомнивший мне фактории, где я никогда не бывал, места из романов Конрада. Как-то я читал о человеке, который, постепенно слабея душой, вопреки своей воле застревает в подобном краю — может быть, на Малаккском полуострове, на Суматре или Яве. Я сказал себе, что вот-вот, ступив на берег, окажусь в атмосфере этих книг, и меня зазнобило от страха и восторга — впрочем, совсем слегка, особенно я не обольщался. Мое внимание привлек ровный стук мотора: к острову направлялась какая-то лодка вроде туземной каноэ. Сидевший в ней негр поднимал над головой плетеную клетку с сине-зеленой птицей и, смеясь, кричал нам что-то непонятное, едва слышное.

Войдя в курительную (так значилось на прибитой снару-

* Милонга — народная песня и танец из областей, примыкающих к заливу Ла-Плата.

жи табличке, конечно, в ряду со словами Fumoir* и Smoking Room**), я с облегчением отметил, как тут сумрачно, прохладно, пустынно. Бармен подвинул мне обычную порцию мятной настойки.

— Подумать только,— сказал я.— Уйти отсюда, чтобы окунуться в этот ад, там, внизу. А все туризм.

Я начал было пространно рассуждать о туризме как единственной всемирной религии, но бармен прервал меня.

— Все уже ушли,— заметил он.— Однако есть исключения,— возразил я.

И указал глазами на столик, за которым раскладывал пасьянс старый поляк эмигрант, генерал Пульман.

— Жизнь для генерала кончена,— сказал бармен,— но он не устает пытать счастье в картах.— Разве что в картах,— отозвался я, потягивая настойку.

Наконец дно стакана из зеленого стало прозрачно-белым. Пробормотав: «Запишите за мной», я двинулся к трапу. На доске возле сходней сделанная мелом надпись извещала, что мы отплываем на следующий день в восемь утра. «Времени хоть отбавляй,— сказал я себе.— Наконец-то можно не бояться опоздать на пароход».

Заслоняясь рукой от слишком яркого света, я ступил на землю, миновал таможню и тщетно попытался найти машину; стоящий рядом негр повторял слово «такси» и разводил руками; в это время хлынул ливень. Из-за складов выполз старинный открытый трамвай (то есть открытый с боков, но с крышей), и, чтобы не вымокнуть до нитки, я вскочил в него. Босой негр-кондуктор тоже не хотел мокнуть и, продавая билеты, не ступал на подножку, а влезал на сиденья и перепрыгивал через спинки. Дождь скоро кончился. Кругом разливался все тот же молочно-белый свет. По боковой улочке в потоках воды спускался чернокожий, неся на голове что-то большое и яркое. Я пригляделся: это был гроб, усыпанный орхидеями. Человек этот являл собой погребальные дроги.

От уличного шума у меня звенело в ушах (несомненно,

* Курительная (*франц.*).

** Курительная (*англ.*).

он так оглушал меня, потому что рядом звучал чужой язык, чужие голоса). Многолюдные на всем пути, улицы теперь и вовсе были запружены народом.

— Центр, да? — спросил я кондуктора.

Поди знай, что он ответил. Я отцепился от поручней и сошел, ибо увидел церковь и представил себе, как прохладно внутри. У входа меня окружили нищие, выставляя напоказ синие, беловатые, красные язвы. Наконец я пробился к дверям, подошел к раззолоченному алтарю; заглянул в приделы, попытался кое-как разобрать эпитафии. Несмотря на мраморные доски, здешние могилы твердили мне о горьком одиночестве и убогости покойных. Чтобы не впадать в уныние, я сравнил их с жителями селений, которые видишь из окон поезда.

Опять очутившись на улице, я двинулся дальше вдоль трамвайных путей. В городе было свое очарование, его викторианские дома трогательно напоминали об иной эпохе. Не успел я додумать свою мысль, как мне попалось на глаза современное здание значительных размеров, неряшливое, незаконченное, но уже облупленное. Я решил, что это павильон, возведенный для какой-нибудь выставки, одно из множества временных сооружений, которые остаются стоять по вине нерасторопных чиновников. Перед павильоном на каменном постаменте переплетались позеленевшие бронзовые кольца и полукольца — странный памятник, отчего-то нагонявший тоску. Чтобы взбодриться, я попробовал в шутку представить себе, будто я местный житель. «Надо написать письмо в газету, пусть уберут наконец эти останки выставки в честь первой годовщины нашей Независимости и Диктатуры, так не подходящие к стилю всего города». Человек не властен над своим настроением, и от этой безобидной шутки мне стало еще тоскливее. Я помедлил перед витриной, на которой были разложены высушенные лягушки, жабы, ящерицы и среди них — великолепная коллекция бальзамированных змей.

— Где они продаются? — спросил я у одного прохожего, по виду истинного подданного Британского содружества.

— Где угодно,— ответил он по-английски.— Прямо здесь.

До меня донеслись звуки бравурного марша. Вдали я увидел кучку людей и недолго думая направился туда через небольшую площадь, обходя буйно цветущие клумбы. С примитивного мостика, переброшенного через ручей, который петлял среди искусственных скал, лужаек и кустов, я взглянул на зеленую мутную воду в желтоватых пузырях. «Это не для меня,— подумал я.— Слишком много змей, слишком много цветов, слишком много болезней. Какой ужас, если что-то вдруг затянет тебя и ты останешься тут навсегда». Я быстро продолжил путь. Военный оркестр, грохоча барабанами и тарелками — особенно бросались в глаза белые гамаши музыкантов,— наяривал марш перед чьим-то неприметным бюстом. «Самое лучшее вернуться на корабль,— подумал я,— и улечься на диван с книжкой Райдера Хаггарда, найденной в читальном зале».

И вот тут я заколебался: мне показалось, что я то ли увидел, то ли припомнил своего друга Веблена. Конечно, в этом городе, выросшем среди тропического леса, на этих шумных улицах, переменчивых и неуловимых, как узоры калейдоскопа, под горячечным солнцем человеку может привидеться что угодно, но Британец Веблен был здесь наименее уместен. «Кто-кто, но только не он,— сказал я себе.— Я просто вспомнил о нем; немыслимо, чтобы он очутился тут». Я хотел вернуться на корабль, но оказалось, я не совсем представляю, в какую сторону идти. Я огляделся в поисках полицейского. Один стоял неподалеку — форма висела на нем так свободно, что казалась маскарадным костюмом, взятым напрокат,— но был совершенно недосягаем: с обеих сторон его омывал быстрый поток машин.

— Порт? — спросил я у продавца газет.

Он непонимающе посмотрел на меня. Какие-то девочки — а может быть, женщины и к тому же проститутки,— смеясь, указали мне дорогу. Одна лишь мысль, что я возвращаюсь на пароход, придала мне бодрости. Пройдя каких-нибудь четыреста метров, я поравнялся с кинематографом, облеп-

ленным афишами; они извещали, что здесь идет «Большая игра»*. Несколько минут назад я прошел бы мимо — по правде сказать, на площади я испугался. Наверное, я был не совсем здоров, иначе отчего приписывать тропикам свойство безвозвратно заглатывать намеченные жертвы, в число которых я почему-то включил себя.

Теперь, вновь став нормальным человеком, я рассмотрел афиши и даже разволновался, увидев, что как раз сегодня тут показывают старый, первый вариант «Большой игры», в которой снимались Франсуаза Розе, Пьер-Ришар Вильм, Шарль Ванель. Я сравнил себя с библиофилом, случайно находящим в жалкой книжной лавчонке драгоценное издание, за которым охотился так давно. По какой-то загадочной причине, а может быть, оттого, что в кругу близких друзей этот вариант видел я один, на протяжении многих лет само название фильма служило мне последним, сногсшибательным доводом в наших разговорах. Если меня хотели вытянуть вечером в кино, я заносчиво вопрошал: «Вы хотите сказать, что это не хуже «Большой игры»?» Когда появился новый вариант, признаюсь, я вышел из себя, разбранил картину, возможно не лишенную достоинств, и не раз упоминал ее как пример полной деградации всего и всех.

Сеанс начинался в половине седьмого. Хотя еще не было и пяти, меня подмывало подождать: ведь я забыл почти весь сюжет этого фильма, составлявшего одно из самых светлых моих воспоминаний (иные заметят, что жизнь того, кто среди лучших своих воспоминаний называет кинофильм, предстает в несколько странном свете; что ж, они правы). Все еще колеблясь, остаться или уйти, я двинулся дальше и поравнялся с другим кинотеатром, называвшимся «Мириам». Там показывали картину, в которой, если судить по афишам, шла речь о бедняках, старых пальто, швейных машинах и ссудной кассе. Меня уже вновь обуяла любознательность туриста; разглядывая все вокруг, я обратил внимание на необычную деталь: в здании было две двери,

* «Большая игра» (1934) — известный фильм французского режиссера Жака Фейдера.

одна, центральная, вела в кинотеатр, вторая, боковая,— в маленькое кафе. Меня опять томила жажда; я вошел, уселся за мраморный столик и, когда — очень не скоро — ко мне подошли, попросил мятную настойку. В стене налево от меня темнел вход в зал, кое-как прикрытый шторой из зеленого потертого бархата. Штора то и дело шевелилась, пропуская женщин, по большей части чернокожих — они входили в зал одни, чтобы выйти в сопровождении мужчин. У стойки, справа от меня, две-три женщины болтали с попугаем, а он не к месту отвечал им хриплыми воплями. В дальнем конце бар переходил в чистенький дворик, вымощенный оранжевой плиткой и огороженный темно-красными стенами с рядами узких дверей; на каждой виднелся эмалированный овал с номером. Между столиками бродил тихий человек с лейкой в руках — очевидно, садовник,— в широченной соломенной шляпе, синем холщовом костюме и шлепанцах; он поливал шаткие доски пола, и они из серых и пыльных становились черными. Честно говоря, здешняя мятная настойка оказалась куда хуже той, что я пил на пароходе.

Я снова вспомнил Британца Веблена. Он рисовался мне не иначе как в самых фешенебельных местах (Нью-Йорк был для него равнозначен джунглям) — на модных курортах вроде Экс-ле-Бена или Эвиана, в Монте-Карло, на Виа Венето в Риме, на улицах Восьмого arrondissement* Парижа или лондонского Вест-Энда. Не сочтите из моих слов, что Веблен был снобом, хотя, наверное, и не без этого — он делал вид, конечно же в шутку (ведь именно так, за самыми редкими исключениями, и проявляется снобизм), что его утомляет любое отступление от привычных жизненных канонов. На деле же он вел как бы двойную жизнь, и одна ее половина представлялась необъяснимой, если не отнести ее на счет снобистских прихотей. Мой друг был знатоком кошек, и не раз я с удивлением видел его на газетных снимках в окружении старух — его помощниц, членов жюри на Королевской кошачьей выставке там-то и там-то. Эта

* округа (*франц.*).

деятельность отнюдь не умаляла прочих его достоинств: Веблен был человеком начитанным, причем при подборе книг им руководила не столько целеустремленность, сколько собственные пристрастия. Он прекрасно разбирался в светской архитектуре и декоративном искусстве Франции XVIII века, ценил картины Ватто, Буше и Фрагонара. Кое-кто считал его авторитетом и в современной живописи — живописи двадцатых годов нашего века, все еще современной и в шестидесятые.

Человечек в соломенной шляпе закончил свой обход и теперь отдыхал, присев к столу. Внезапно я заметил кошку, лежащую у него на коленях, на мой взгляд, обычную домашнюю кошку, белую в больших светло-коричневых и черных пятнах. Мы с кошкой посмотрели друг на друга; мордочка животного была как бы составлена из двух половин, один глаз на черном пятне, другой на белом. «Да тут целый зверинец,— сказал я себе.— Попугай, кошка, лебедь». Лебедя я упомянул потому, что на рубашке человечка — он шевельнулся, доставая платок, чтобы вытереть пот,— заметил монограмму в виде этой птицы. «Сколько воспоминаний»,— пробормотал я, ничего не понимая. На меня вдруг нахлынули безудержные, но не совсем ясные воспоминания о моей юности. Да, конечно, припомнил я, у Веблена была точно такая же монограмма. Кошка продолжала смотреть на меня, словно желая внушить какую-то мысль, и я опустил глаза. Когда я их поднял, соломенная шляпа лежала на столе, а у человечка было лицо Британца Веблена. Странно, подумал я, встретить знакомое лицо у незнакомого человека. Быть может, в перипетиях странствий мне суждено было сделать открытие, что по миру рассеяно несколько экземпляров одного и того же лица.

— Дорогой друг! — вскричал Веблен и, раскрыв объятия, шагнул мне навстречу.— Дорогой друг! — ответил я.

Мы обнялись, растроганные до слез. От него скверно пахло.

Я смотрел на него, все еще не веря своим глазам, меня слегка мутило от головокружительной тайны, соединенной

теперь с этим знакомым лицом. Мы связываем лицо с определенным человеком; передо мной было лицо Веблена, но все остальное противоречило привычному образу. Для моего друга, припоминал я, это остальное — одежда, присущая ему опрятность, среда, в которой он вращался, некая педантичность и самонадеянность в манерах — как раз и было основным. (Когда обстоятельства меняются, наверное, нечто подобное может произойти с каждым.)

Стоило посмотреть, как мы, два немолодых человека, чуть не плача, сжимали друг друга в объятиях. Когда я сказал фальшивым голосом, что он прекрасно выглядит, он ответил с улыбкой: — Ты прав, мне можно позавидовать. Но спорю, что больше всего тебе хочется спросить, как меня сюда занесло.— Да уж конечно,— отозвался я.— Я никак не предполагал встретить тебя здесь.

— Ни дать ни взять сцена из романа. Хочешь услышать мою историю? — Еще бы, Веблен!

— Тогда,— продолжал он,— ты, как это водится в романах, закажешь мне рюмку, и я, постепенно пьянея, расскажу о себе.

— Что тебе заказать? — спросил я, подозвав официанта.

— Мне все едино.

Он помолчал, глядя на меня. Официант принес бутылку и стакан.

— Оставить? — спросил он на своем языке.— Оставь,— ответил Веблен.

Я взял бутылку и поднес горлышко к носу. На меня пахнуло спиртом; запах казался то сладковатым, то горьким; я рассмотрел этикетку: на ней был изображен пейзаж с горами, покрытыми снегом, луна и паук в паутине; «Сильваплана»,— прочел я.

— Что это? — Здешнее пойло,— ответил Веблен.— Тебе его не рекомендую.

— Может, переменить?

— И не думай. Мне все едино,— повторил он.— История эта началась в Эвиане года три назад. Или чуть раньше, в Лондоне. В то время мне улыбалось счастье, и Леда

любила меня. Ты знал о моем романе с Ледой? — Нет,— отозвался я,— не знал.

Мой ответ не слишком порадовал его.

— Я познакомился с ней в Лондоне на балу. Она сразу же ослепила меня, и, глядя на ее длинные белые перчатки, я сказал ей, что она лебедь — не стоило бы рассказывать тебе эти глупости,— а оказалось, что она Леда. Она не поняла меня, но рассмеялась. Поверь, на балу она была самой молодой и самой прелестной. Какими словами ее описать? Безукоризненно одетая и воспитанная; тугие белокурые локоны и голубые глаза. Она сама открыла мне пределы своего совершенства — у нее были грязные колени. «Когда я мою их или надеваю лучшее нижнее белье, мне не везет с мужчинами». (Правда, говорила она в высшей степени прямолинейно.) Характер у нее был беспечный. Я не знал другой женщины, кого так веселила бы жизнь. Нет, неверно, не жизнь вообще, а ее жизнь, ее связи, ее обманы. Все ее помыслы были прежде всего сосредоточены на себе. На книги ей не хватало терпения, и в том, что зовется культурой, она ничего не смыслила; но не надо думать, что она была дурочкой. Меня, по крайней мере, она постоянно обводила вокруг пальца. В своем деле она была специалисткой. Ее занимало все, что касалось любви, любовных связей, мужского и женского самолюбия, обманов и интриг, того, что люди говорят и о чем умалчивают. Знаешь, слушая ее, я вспоминал Пруста. В шестнадцать лет ее выдали замуж за старого австрийского дипломата, человека образованного, хитрого и недоверчивого, которого она обманывала без малейшего труда. Похоже, тот верил, что берет себе в дом нечто вроде котенка, и с самого начала вел себя с ней по-хозяйски, старался воспитывать ее и направлять, а она с самого начала делала вид, что слушается его во всем, и обманывала, как могла. Ее родители считали, что мужу не под силу противостоять Леде в этой войне (его дело — подчинить ее себе, ее дело — вывернуться, сбросить путы), и сторожили ее, словно еще двое ревнивых мужей. Но не думай, что эти обстоятельства влияли на ее веселость или на ее привязан-

ность к родителям и к австрийцу. Она всех любила и всем лгала. Радостно и азартно изобретала она хитрые, запутанные проделки.

В начале нашего романа, перед тем как познакомиться с ее мужем (потом я немало виделся с ним), я как-то вечером спросил ее: «Он ничего не заподозрит? Ведь нас постоянно встречают вместе». «Не беспокойся,— ответила она.— Мой муж принадлежит к тем людям сугубо мужского склада, которые хорошо разбираются в женщинах, но не помнят ни одного мужского лица, потому что просто не видят их».

Помимо ее красоты, ее молодости, прелести и ума (ограниченного, но удивительно тонкого, куда более проницательного, чем мой) меня зачаровывало невероятное, но не раз подтвержденное обстоятельство: она была в меня влюблена. Она рассказывала мне обо всем, ничего не скрывала, словно была уверена — я уважал ее, признавал зрелость ее суждений, не позволял себе сомневаться (и все же немного сомневался в ней),— словно была уверена, что никогда не направит против меня этот сложный механизм затейливых обманов. Я благословлял судьбу за удивительный и щедрый дар и однажды ночью, в некоем опьянении любовью и тщеславием, сказал ей: «Даже если бы ты обманула меня, я все равно бы тобой восхищался». Самым искренним образом верил я, что умею смотреть на жизнь философски. С другой стороны, любая ложь Леды была забавна и изящна.

Я забыл про Лавинию,— сказал Британец Веблен, поглаживая кошку, лежавшую у него на коленях.— У Леды была кошечка, обыкновенная домашняя кошка с очень мягкой шерсткой, белая в светло-коричневых и черных пятнах; мордочка как бы составлена из двух половин, черной и белой. Словом, обычная кошка из бедняцких кварталов, но душа у нее была Ледина. Ты не представляешь, как они походили друг на друга. Льстивая и лживая, она вечно надувала тебя, а когда обман раскрывался, ты все равно не мог на нее сердиться. Она была грациозной и гибкой и чуралась грязи. После еды она тщательно приводила себя в порядок, точно светская дама. Однажды она встретила меня особенно

ласково, и это несказанно польстило мне: Лавиния как бы подтверждала, что отныне я свой в этом доме. Когда я отдавал синий костюм в чистку, я увидел, что кошка провела меня — ластясь, воспользовалась моими брюками как салфеткой. Лавинии никто не был нужен, кроме Леды. Кто знает, может, и Леда была такой же, в ее жизни существовала только одна любовь.

Не помню уж, кто первый — Леда или я — предложил провести вместе несколько дней во Франции. Но я уверен, что именно Леда выбрала Эвиан. Это удивило меня, я полагал, что уже знаю Леду, и считал, что она предпочтет самое светское место; кроме того, я слегка огорчился, ибо уже воображал, как прогуливаюсь под руку с моей подругой по модным бульварам Монте-Карло и Канна. Потом обдумал все хорошенько и сказал себе: «Чего еще можно желать? Я не буду страдать от бесконечных балов и ее неизбежных побед. Она будет принадлежать мне одному».

В те дни одним из величайших удовольствий стало делиться друг с другом мечтами о нашей поездке; однако когда планы обрели реальность, когда наметились даты, мне вовсе не захотелось прерывать течение нашей жизни в Лондоне. Но кто не уступил бы желаниям Леды? Вскоре путешествие вновь представлялось мне заманчивым. Возникло немало препятствий: родители были против, планы Леды казались им подозрительными; более того, муж заговорил о том, что хочет сопровождать жену. Обо всех этих препонах я узнавал от Леды, поскольку остальные, быть может инстинктивно, остерегались обсуждать в присутствии посторонних свои сомнения и страхи. Родители, эти старые лицемеры, чтобы сбить меня с толку, на словах горячо одобряли поездку, а муж с неприкрытым лукавством умолял меня не покидать его во время отсутствия жены, иначе — без нее — кто же станет его приглашать? Эти комедии выводили молодую женщину из себя, она боялась выглядеть обманщицей в моих глазах. Тем временем приготовления шли своим чередом, и моя подруга, занятая множеством дел — модистка, маникюр, парикмахер, покупки — не могла урвать ни минуты в течение

дня, чтобы встретиться со мной, а вечера, само собой разумеется, проводила в кругу семьи. «Слава богу, на свете есть телефон»,— покорно вздыхал я. Надо признать, что для короткого телефонного звонка Леда всегда выкраивала секунду. Надежды на путешествие, которое должно было соединить нас, но пока что разъединяло, таяли с каждым днем. И вот, когда казалось, что уже все потеряно, Леда вдруг объявила: «Любовь моя, мы уезжаем. К несчастью, нас будут сопровождать моя кузина Аделаида Браун-Сикуорд со своей маленькой дочуркой Белиндой, моей племянницей. Без них — никакого Эвиана. Мы с тобой поедем порознь и встретимся в отеле «Руаяль». Чтобы тебе было не скучно ехать одному, оставляю тебе Лавинию. Ты ее привезешь. Я вверяю тебе самое дорогое... конечно же, после тебя, жизнь моя». Я был счастлив, потом пал духом, потом превозмог себя. И меланхолично подумал: «Леда и маленькая племянница! On aura tout vu»*.

Я уезжал первым и, честно говоря, боялся, что мне предстоит провести каникулы в Эвиане вдвоем с кошкой; но планы изменились, сначала улетела Леда, и когда мы с Лавинией приземлились в Женеве, Леда ждала нас в аэропорту.

Наш автомобиль подъезжал к Эвиану в сумерках. Почему-то мне мучительно хотелось как можно дольше не приезжать в отель; мне хотелось, чтобы наш путь длился вечно, чтобы Леда вечно была рядом (с такой тоскливой страстностью обнимаются влюбленные, разлучаясь навсегда); а она, прямая и стройная, сидела поодаль и, кажется, во всех подробностях описывала свой перелет. «Отчего ты так хороша?» — сказал я, жадно беря ее за руки и стараясь говорить беззаботно. Обычно чуткая к любому упреку, она на сей раз словно не уловила тайный смысл моих слов и услышала в них лишь похвалу ее красоте. Польщенная, она выпрямилась еще больше, и от этого движения вся ее фигура — длинная шея, прическа, поистине необыкновенные глаза — показалась мне похожей на птичью. Наверное, лучше бы рядом со мной сидела птица, но то была Леда, молодая женщина, которую

* Что же, посмотрим (*франц.*).

я любил, и впервые от ее красоты мне стало больно и почудилось, что она далеко-далеко от меня. «Давай выйдем из машины,— сказал я у ворот парка.— Пройдемся до отеля пешком.— И чтобы пресечь всякие возражения, добавил: — Бедняжке Лавинии надо поразмяться». Мы шли молча, но вдруг я услышал то, чего боялся: «Наши комнаты на разных этажах, дорогой. Сегодня ночью мы будем спать врозь. Может быть, завтра...» Я промолчал.

Портье за стойкой протянул мне листок бумаги, который следовало подписать, и указал номер комнаты. «С окнами на озеро?» — спросил я. «На озеро»,— ответил он. «О нет,— сказал я.— Мне хотелось бы комнату с другой стороны, выходящую на горы. На юг». «Что за причуды»,— запротестовала Леда. Плохой знак, подумал я, рассердить любимого человека. С Ледой у меня такое случалось впервые. «А можно получить комнату на том же этаже, но с окнами на горы?» — спросил я, полагая, что вывернулся крайне ловко. «Конечно»,— ответил портье. Леда весело заговорила о террасе, где мы будем завтракать. Потом мы все погрузились в клетку лифта — свежеокрашенную, в причудливых завитках,— поднялись в бельэтаж, пошли широкими коридорами (отель строился в те годы, когда в мире еще было просторно) по безупречно чистым зеленым дорожкам. Комната оказалась большой и напомнила мне спальни (уверен, что там так же пахло лавандой) в старинных усадьбах, где я жил мальчиком. Серые обои приглушенно гармонировали с розовым шелком на спинках широкой бронзоволапой кровати. Поддавшись настроению минуты, я воскликнул: «Верю, что в этой комнате я буду счастлив». Леда одарила меня самым долгим за весь день поцелуем, подхватила кошку на руки и сказала «до завтра».

Я распаковал вещи, принял душ, слегка освежился — по выражению парикмахеров — и спустился в ресторан. Отель был, в сущности, пуст. С интересом поглядывая на дверь в ожидании Леды, кузины и маленькой племянницы, я легко поужинал. Потом, так никого и не дождавшись, вернулся к себе и вышел на террасу, чтобы выкурить сигару. Пахло

скошенной травой, в воздухе стоял ровный гул — пели то ли лягушки, то ли цикады. Я лег, но долго не мог заснуть. Никто не страдает сильнее, чем оскорбленный любовник, который не смеет жаловаться, потому что не знает, насколько он прав. (Да полно, неужели это происходит со мной?) Всю ночь напролет я вел воображаемые диалоги с Ледой, виня ее в том, что испорчены наши каникулы в Эвиане. Я признавал, что замужняя женщина должна быть осторожной и не слишком откровенничать с конфидентками, пусть даже с собственными кузинами; но горечь вновь и вновь подступала к сердцу, и я сформулировал и заучил наизусть не один ядовитый упрек, с тем чтобы высказать их наутро.

Наутро меня разбудило пение птиц. Я выглянул на террасу: на склоне горы зеленел густой лес, а внизу, у отеля, девушки, взмахивая большими косами, косили траву. Официант, принесший на террасу поднос с завтраком, объяснил: — Мы готовим la pelouse* в парке. Со дня на день сюда нагрянет la foule**.

Нагрянет la foule или нет, меня не волновало. Что же касается Леды, то хоть она и упоминала о наших завтраках на террасе, я понял, что лучше ее не ждать.

Потом я пошел бродить по парку, углубился в лес; там я сел на пень и предался меланхолии. Грустнее всего было то, что я не только потерял любовь Леды; я скорбел потому, что у меня появилась седина, что надвигалась старость, что оставалось мало времени, и это время я тратил понапрасну в безумно дорогом отеле, где каждый день печали стоил мне целого состояния. Я никогда не следил за течением своих дел, передав все в руки — и в руки вместительные — моего поверенного Рафаэля Коломбатти (болезненно бледного, страдавшего плоскостопием, всегда в черном костюме), и время от времени на меня нападал страх, что, точно в романе, в одно прекрасное утро я проснусь без гроша.

Мне пришлось вернуться, потому что я опаздывал к обе-

* лужайку, газон (*франц.*).
** толпа (*франц.*).

ду. В большом зале ресторана почти все столы были свободны. Лишь кое-где виднелись уже знакомые с вечера лица: семья крупного промышленника из Лиона, довольно известный французский актер (я бы не узнал его, если бы метрдотель не произнес его фамилию); толстощекий молодой человек, которого я не раз встречал за последнее время — его кирпично-красные и дряблые щеки придавали ему крайне глупый вид, мне он был весьма неприятен,— и девушка из семьи Ланкер, достаточно хорошенькая и вся золотистая,— я сразу же узнал ее, потому что сто лет назад поговорил с ней одну минуту за чаем в теннисном клубе Монте-Карло. Я уже подходил к лифту, чтобы подняться к себе, размышляя, что если бы мне оставили Лавинию, существо в конце концов весьма назойливое, мне и то было бы веселее, как вдруг появилась Леда. Приглушенно вскрикнув, она пробормотала: «Мы едем на день в Женеву. Едем сейчас же». Я был так затравлен, что не понял, кого включали слова «мы едем» — меня или кузину с племянницей. Но Леда тут же добавила: «Что ты стоишь? Надо шевелиться», и я понял, что судьба наконец улыбнулась мне.

Я захватил непромокаемое пальто, и мы помчались, словно за нами по пятам гнался дьявол. Прибыв на место, я убедился, что нетерпение обычно рождается нашим сердцем, и незачем искать ему причин — мы найдем только предлоги. Я хочу сказать, что Леде, по всей видимости, нечего было делать в Женеве, кроме как гулять со мной целый день, очень солнечный, очень долгий и очень счастливый. Мы любовались фонтаном, бьющим из озера, и рыбками в Роне; обошли книжные магазины на Корратери и книжные магазины и лавки антикваров на Гранд-Рю (я купил Леде стеклянное пресс-папье, внутри которого была выложена из гранатов птица феникс), отдохнули в парке О-Вив и поужинали в беарнском ресторане. Помню, еще в парке я предложил Леде пойти в какой-нибудь отель. «Ты с ума сошел,— ответила она.— Для этого у нас есть «Руаяль». Действительно, по возвращении в Эвиан она осталась у меня, и на следующее утро мы завтракали на террасе. Леда предложила поехать

в Лозанну; я ответил, что готов отправиться хоть сейчас; тогда она очаровательно улыбнулась и сказала: «Мы поедем последним вечерним пароходом. Жду тебя на пристани в одиннадцать». Она поцеловала меня в лоб и упорхнула.

Я решил не поддаваться унынию, сколько бы пустых часов ни маячило впереди. Меня будет вдохновлять память о недавнем счастье, и как-нибудь до одиннадцати я дотерплю. Для начала я долго лежал в ванне, потом медленно одевался и наконец спустился в парк. В вестибюле я натолкнулся на Бобби Уильярда. Ты его знаешь? Нет? Ничего не потерял, потому что он кретин. Бобби затрещал как сорока, разбранил Эвиан, назвав его второй могилой. «Первая — это Бат*»,— прохихикал он. Потом стал уверять, что «Руаяль» совершенно пуст. «Здесь нет ни души, ни души»,— повторял он. «Здесь Леда»,— отозвался я из тщеславия и потому, что нам приятно упоминать имя любимой женщины. Лучше бы я этого не говорил. Бобби наклонился, дыша мне в лицо, и воскликнул: «Знаешь, что мне сказали? Что она б... Готова на это с любым». Кое-как я отделался от него и вошел в музыкальный зал, где никогда никого не бывало. Долго сидел я там, приходя в себя. Трудно описать, как ранили меня слова этого идиота. Наконец я собрался с духом и попросил у консьержа проспекты лозаннских отелей. Прихватив с собой три-четыре, я вышел на свежескошенную лужайку и бросился в обтянутое тканью кресло. Перед тем как углубиться в чтение — я намеревался провести эти часы тихо и спокойно,— я беззаботно огляделся по сторонам, засмотрелся на балкон Леды и вскоре обнаружил в дверном стекле отражение моей приятельницы. Из полумрака комнаты всплыло другое отражение; в стекле оба отражения соединились. «Леда целует племянницу»,— сказал я себе. Не знаю, сколько времени следил я за этими фигурами, посмеиваясь над своим открытием,— благодаря интересному закону оптики, наблюдателю, смотрящему под моим углом зрения, племянница казалась одного роста с Ледой, пока не обнаружил совсем иное: Леда целовала мужчину. Клянусь тебе,

* Курорт в Англии.

когда все увиденное дошло наконец до моего сознания, я ощутил этот миг как границу между двумя мирами — привычным миром, в котором я был с Ледой, и миром неведомым, достаточно неприятным, куда я вступал теперь неизбежно и безвозвратно. В глазах у меня потемнело, я отбросил проспекты, словно то были ядовитые твари. Любопытно: несмотря на ощущение хаоса, ум мой работал быстро и четко. Прежде всего я направился к стойке портье и спросил, где остановились миссис или мисс Браун-Сикуорд и приехавшая с ней девочка. Мне ответили, что такие лица в отеле не проживают. Потом я попросил счет, заплатил, поднялся в комнату. Там меня охватило настоящее отчаяние; собирая вещи, я метался по номеру, наталкиваясь на стены, точно ослепшая летучая мышь. В бешенстве выскочил я из этой несчастной комнаты и в автобусе, принадлежащем отелю, отправился на пристань. До парохода оставался целый час, и я принялся рассуждать. Я начал спрашивать себя (и спрашиваю до сих пор), действительно ли Леда целовала мужчину. Меня подмывало остаться. Я говорил себе: «А может, остаться — благоразумнее?» — и тут же возражал: «Это не благоразумие, а трусость». Думаю, в глубине души я уже знал, что отныне рядом с Ледой я буду чувствовать лишь тревогу и тоску; уверяю тебя — именно оттого я и уехал (любая женщина скажет тебе, что меня толкало оскорбленное самолюбие). На пароходике, пересекавшем озеро, я казался себе хозяином собственной судьбы; но вдруг над головой пронеслись огромные белые птицы, и на меня нахлынули дурные предчувствия. Все мы едем на пароходе неизвестно куда, но мне нравится думать, что в те минуты мое положение было особенно символично. Не спрашивай, где я остановился в Лозанне,— этого я не помню. Помню лишь, что на протяжении этого странного, расплывчатого и бесконечного дня я как зачарованный созерцал из окна своей комнаты противоположный берег. Я мог бы нарисовать отель «Руаяль», так долго смотрел на него. Вечером здание постепенно обозначилось рядами светящихся точек. Облокотившись на стол у окна, я закрыл глаза, все еще

представляя себе отель, и уснул. Наверно, я был очень усталым, потому что наутро проснулся в том же положении.

Должно быть, едва я закрыл глаза (подумай только: я сидел, уронив голову на стол, напротив окна, выходящего на озеро, так что, открой я глаза хоть на секунду, я увидел бы пожар), как отель «Руаяль» охватило пламя. В ту ночь, конечно, никто не спал, кроме меня, у которого там, в отеле, оставалась Леда.

Я бы сказал: некто, распоряжающийся моей жизнью с той минуты, когда я ступил на палубу пароходика, усыпил меня. Наутро он же не дал мне взглянуть в окно, увлек в глубь комнаты и, решив во что бы то ни стало увести меня от Леды, закрутил в водовороте разных дел. Странно, не правда ли, что мне удалось еще до завтрака соединиться с Лондоном. Я позвонил туда — все это подстроила судьба — и сообщил, что возвращаюсь днем. Чтобы отрезать все пути к отступлению, я хотел связать себя обязательствами, но оказалось, что я связан крепче, чем предполагал. Мне сообщили, что этой ночью Коломбатти выстрелил себе в голову и находится в больнице, при смерти. Я ответил: «Возвращаюсь первым самолетом». Потом переговорил с портье и заказал билет. В одиннадцать мне следовало быть в аэропорту. Я взглянул на часы. Половина девятого. Я попросил подать завтрак; появилась швейцарка, очень молоденькая и болтливая, она была настолько захвачена событием, что, даже не спросив, знаю ли я о происшедшем, принялась трещать и трещать без остановки, несколько раз повторив: «Все погибли». «Где?» — прервал я ее. Представляешь, что я почувствовал, услышав: «При пожаре в отеле «Руаяль». Потом какой-то промежуток времени выпал из моей памяти. Кажется, я глянул в окно; струйки черного дыма, еще поднимавшиеся на том берегу, подтверждали самое худшее. Я бы отправился в Эвиан первым пароходом, но лифтер заявил: «Жертв не было». Я спросил у портье. Он, поддержанный лифтером и всеми служащими, утверждал то же самое: «Жертв не было». Я все равно переехал бы озеро, чтобы поскорее обнять Леду. После всего, что

могло произойти, мне хотелось видеть ее, коснуться ее. Пожар, ложные вести — это были знамения, ниспосланные мне, дабы напомнить, что в жизни есть беды худшие, чем обман. Я уже начал было в отчаянии оплакивать мертвую Леду; теперь, когда оказалось, что она жива, упорствовать в оскорбленном самолюбии означало искушать судьбу.

Портье не отходил от меня, он похвалялся, что сумел-таки достать билет на одиннадцатичасовой самолет, и, словно читая мои мысли, перескакивал на другую тему и повторял: «В «Руаяле» не погиб ни один человек. Вы мне не верите?» Со своей стороны, я подумал, что намерение обнять Леду вряд ли осуществимо, если ее раздражит мое быстрое возвращение — может быть, она еще не придумала, как скрывать одного от другого обоих своих любовников. (Почему-то я пришел к выводу, что мой соперник — тот молодой человек с кирпично-красными и дряблыми щеками.) Я говорил себе, что пока я возвращаюсь в Эвиан, где я никому не нужен, Коломбатти — верный и надежный человек, который в течение стольких лет вел мои дела и не разгибал спины, безвылазно сидя в тесном кабинете с окном во двор, чтобы дать мне возможность разъезжать по миру и жить в свое удовольствие,— умирает в лондонской больнице без слова благодарности, без прощального пожатия дружеской руки, брошенный всеми на свете.

Так судьба вновь увела меня от Леды. Я улетел одиннадцатичасовым самолетом и прибыл вовремя, чтобы сказать Коломбатти слово благодарности. Однако самоубийца ловко увернулся от прощального пожатия дружеской руки, ибо в тот же час, быть может обратным рейсом моего самолета, сбежал на Ривьеру, а точнее, как я подозреваю, в Монте-Карло. Говорят, он уехал с повязкой на голове; но, что важнее, я, несомненно, давно уже жил в повязке на глазах. Ты не поверишь, но меня очень встревожило, как повлияет столь необдуманное бегство на здоровье моего бывшего поверенного. Однако, даже ослепленный глупостью, я не мог долго прятаться от правды. После обеда я узнал о беговых лошадях, о пирах с икрой и о дорогих любовницах

Коломбатти. Сев за стол в его кабинете, я убедился, что он обокрал меня; можно сказать, в один прекрасный вечер я оказался без гроша. Даже продав все, что у меня оставалось, я не сумел бы оплатить долги.

В тот вечер я полностью забыл о Леде. Трудно описать, как действуют на меня денежные затруднения. Быть может, оттого, что я не разбираюсь в делах, они удручают меня и приводят в ужас. Я воспринял свое несчастье как наказание, смутно ощущая, насколько я виноват, и отдался угрызениям совести. Умри Леда в языках пламени, я не страдал бы сильнее; всю ночь я проворочался в постели и заснул лишь под утро — наверное, перед самым появлением негра.

По всей видимости, он вошел абсолютно тихо, но какой-то шум все же был, потому что я проснулся. Он сидел на стуле у кровати, одетый в смокинг, очень чинный и очень черный. Пожалуй, больше всего меня встревожили его глаза, такие круглые и блестящие. Я нажал кнопку звонка, но безрезультатно, ибо верные слуги, узнав о положении дел, покинули дом, точно крысы, бегущие с тонущего корабля.

Негр отнюдь не был призраком; он был человеком из плоти и крови и, сам того не зная, составлял звено в цепи мелких обстоятельств, которые придают неповторимый характер нашим судьбам; что бы там ни было, но одно несомненно: мне его послало провидение. Он был дипломатом, точнее, атташе по вопросам культуры при посольстве одной недавно возникшей африканской республики и пришел, чтобы от имени своего правительства предложить мне пост директора их музея; в его речи словно бы невзначай проскользнуло упоминание о фунтах, которые они думают дать мне в качестве аванса, и хотя он произнес это между прочим, я запомнил цифру, ибо более или менее в эту сумму оценивал свои долги после продажи квартиры, двух домов и нескольких гектаров земли — всего того, до чего не успели дотянуться руки Коломбатти. «Пост директора музея?» — переспросил я. «Музея искусств,— ответил он и добавил, уточняя: — Музея современного искусства». «А на кой мне это?» — спросил я. Не поняв вульгарности моих слов, он

ответил: «Мы приобрели картины, мы построили здание — и я с гордостью могу заявить, что в нашей скромной столице самое величественное здание — это храм искусств; теперь вы развесите, распределите все, что у нас есть, но не сомневайтесь, настанет день, когда дело дойдет до новых приобретений, и вот тут...» Сделав жест, примерно означавший «еще успеется», я попросил его продолжать. «Как сказал наш президент,— вновь заговорил дипломат,— мы — это мир будущего; время работает на Африку». Не знаю, принадлежала ли последняя фраза президенту или ему самому. «Более всего остального,— продолжал мой гость,— нам симпатична идея вкладывать средства в завтрашний день»; он предсказал, что однажды, проснувшись поутру, страна обнаружит, что эти произведения искусства — «быть может, довольно уродливые, на взгляд невежды» — не уступают в цене золотым слиткам. «Мы собрали больше Пикассо и Гриса,— утверждал он,— чем парижский Музей современного искусства, больше чем вообще кто-либо на свете. А в довершение всего, статуя Родины, стоящая перед музеем,— не сомневаюсь, что вам приятно будет об этом узнать,— творение вашего славного соотечественника, скульптора Мура». Он признал, что его предсказание может оказаться ошибочным, но добавил: «Эту ошибку разделяют с нами не только сами художники и известные торговцы картинами, но и все, кто разбирается в искусстве — деловые люди, великосветские дамы, банкиры и промышленники! Быть может, проснувшись, мы обнаружим не золото, а грубо подделанные банкноты, лишенные всякой цены, дешевую мазню. Как порадуются тогда замшелые старики, утратившие вместе с эластичностью мускулов гибкость ума, необходимую, чтобы воспринимать новое искусство!» В конце тирады он не без достоинства заявил, что предпочел бы — сам или вместе с президентом — пойти на дно вместе с молодыми, чем всплыть, опираясь на помощь реакционеров, колонизаторов и работорговцев.

Хотя реальность моего посетителя не оставляла сомнений, столь же очевидно было, что он послан мне судьбой: ведь

его предложение открывало передо мной врата чистилища, где я мог бы искупать свои грехи; особенно знаменательным представлялось мне совпадение обещанной суммы с суммой моих долгов. Сознаюсь, именно последнее убедило меня, показалось настоящим волшебством. «Ну хорошо,— сказал я.— И когда же мне выезжать?» «Когда пожелаете,— отвечал он с широким жестом искушенного дипломата, как бы предоставляя в мое распоряжение все время вселенной, пусть лишь на один миг.— Сегодня среда? — продолжал он.— Если вам угодно, можно лететь субботним рейсом — или вы предпочитаете завтрашний?» И я услышал свой ответ словно со стороны, точно моим голосом говорил кто-то чужой: «До субботы я успею сделать так мало, что на это мне вполне хватит и одного дня, если мы сейчас же закончим разговор». Дипломат вручил мне чек, заявил, что завтра заедет за мной в ноль часов — самолет вылетал в час двадцать,— дал несколько советов относительно одежды, в том смысле, что самые теплые вещи в тропиках не нужны, и простился.

Этим утром я посетил консула и адвоката; к последнему вернулся и после обеда, чтобы подписать кое-какие бумаги, доверенность на продажу имущества и оплату долгов. Я попросил его также продать с аукциона картины, мебель и все, что оставалось в квартире, а вырученную от продажи сумму считать своим гонораром. В квартире осталось почти все, я взял с собой один лишь чемодан, уложив в него кое-что из одежды и единственную имевшуюся у меня фотографию Леды. Сейчас я схожу в свою конуру и покажу ее тебе. Ты убедишься, что я не преувеличивал, Леда действительно хороша; жаль только, она на втором плане и немного смазана; впереди и особенно отчетливо на снимке вышла кошка.

Вот так, не дав себе времени на раздумья, я вошел в самолет, сел, принял таблетку от головокружения и крепко заснул; проснулся я уже в аэропорту. Там меня встречали местные власти с музыкой; затем мы все вместе поехали к президенту, чтобы поднять там бокал во имя процветания

республики, а после того возложить венок на могилу Отца Отечества; наконец меня привезли в музей и оставили одного. Там я очнулся, там начались мои горести.

Вид этих картин и статуй обращает человека к мыслям о себе самом, и я постепенно понял, где я, что сделал, что оставил позади. Не по своей воле, а по стечению непредвиденных обстоятельств я бросил Леду, ничего не зная о ее судьбе. В Лондоне я не читал газет; оглушенный известием о мошенничестве Коломбатти и мыслями о поездке в Африку, я занял те несколько часов, что у меня были, формальностями и хлопотами и, хотя это покажется невероятным, даже не проверил утверждение лозаннского портье, будто никто не погиб при пожаре в отеле «Руаяль». Сомнения напали на меня в день приезда сюда. Сомнения в том, жива ли Леда, действительно ли я видел ее с мужчиной и, наконец, что же важнее — обман или сама любовь. Добавь ко всему этому, что я не мог вернуться в Англию, что я был связан контрактом, и ты поймешь, в каком настроении бродил я по моим залам с картинами конкретивистов, фигуративистов и прочих художников. Я смотрел на полотна, как осужденный — на стены камеры; нет ничего странного, что я возненавидел их.

Я сказал тебе, что очнулся, но то было лишь пробуждение во сне. Прошло немало времени, пока все вокруг обрело некоторую реальность. Ты не поверишь, но сейчас, вспоминая те первые дни, я представляю свои комнаты в левом крыле музея, хотя знаю, что они находились в правом. Никто, наверно, о том не догадывался, но я жил в состоянии бреда, ожидая бог знает чего. Во всяком случае, я был поражен, когда однажды утром нашел на письменном столе телеграмму на мое имя. Я открыл ее и прочел: «Лавиния погибла при пожаре. Я очень одинока. Телеграфируй до востребования, едешь ли ты сюда или я туда. Леда».

Прочтя телеграмму, я понял, что в одном мои сомнения были необоснованны. Очевидно, что Леда не умерла, иначе получалось несоответствие. А если говорить о доказательствах ее любви, то одно из них, лежащее передо мной,

было совершенно невероятно. И не потому, что мне вспоминался эпизод в Эвиане; всегда, с самого начала, мне казалось удивительным, что Леда любила меня. Вдумаемся же как следует: это был факт поразительный, но реальный, счастливое обстоятельство, возникшее отнюдь не благодаря каким-то моим заслугам, а лишь волею случая.

Конечно, в Лондоне уже ни для кого не было секретом мошенничество Коломбатти и мое банкротство, значит, Леда была готова принять бедняка или следовать за ним в Африку. Я знаю, есть женщины, которые живут минутой, проживают не жизнь, а ряд минут, словно начисто забывают о прошлом и не верят в будущее; такие женщины сжигают ради нас корабли, но это отнюдь ничего не значит, потому что, когда приходит время, они пускаются вплавь; однако было бы несправедливо включать Леду в их число. Для подобных поступков необходимо какое-то умственное затмение, пусть даже преднамеренное, а я не знал ума яснее, чем у этой молодой женщины. Я же, напротив, был в совершенном смятении. К примеру, я истолковал телеграмму как дар судьбы, переносивший всю ситуацию в иное, магическое измерение. Не соответствовать этому измерению, не повиноваться буквально, послать вместо телеграммы объяснительное письмо означало потерпеть полное фиаско.

Однако ты понимаешь, что не каждому дано стать выше трудностей и преимуществ практической жизни. Передо мной был узел, предстояло разрубить его — но как? Любое объяснение выходило за рамки телеграммы. Прежде всего надо было рассеять какие-либо сомнения Леды относительно моих материальных обстоятельств. Я был полностью разорен, превратился в бедняка, и наша жизнь в Европе уже не могла бы протекать так, как прежде. Потом нужно было объяснить ей, что меня связывает контракт. В течение года я не сумею получить паспорт. Мне не дадут сбежать, а попытайся я это сделать, возможно, меня арестуют. Наконец, я должен описать ей страну. Как бы ни велика была ее самоотверженность, здесь она так соскучится, что

от одного этого возненавидит меня. Три-четыре экскурсии, а потом ей останется лишь спиртное и, что еще вероятнее, чернокожие любовники. Какими словами растолковать ей все это, чтобы ей не показалось, будто я отговариваю ее? Всю субботу и воскресенье я писал письмо, рвал его, писал заново. Наконец отправил его и принялся ждать. Я ждал телеграммы, письма, появления самой Леды. Ждал долгие дни и долгие ночи, сначала спокойно, но уже очень скоро — в большой тревоге. На первых порах уверенный в Леде, потом я стал колебаться, не обидел ли ее, потом недоумевал, а потом испугался. Тогда я послал телеграмму: «Пожалуйста, телеграфируй, едешь ли ты сюда или я туда». Как бы я поступил, если бы Леда ответила, что ждет меня? Не знаю. Она так не ответила. Она никак не ответила. Я прождал еще немало дней, и наконец ответ пришел в виде письма, написанного, на первый взгляд, Лединым почерком, но за подписью Аделаиды Браун-Сикуорд. Значит, эта кузина Аделаида Браун-Сикуорд все-таки существовала. Сейчас я схожу за письмом и покажу тебе. Я читал его, ничего не понимая. Я спрашивал себя, почему Леда не написала сама. Письмо, участливое и твердое, дышало упреком. Ослепленный эгоизмом, утверждала кузина, я не сумел оценить безграничную любовь Леды. Все мужчины одинаковы, ради самолюбия они жертвуют любовью. Следующая фраза больно ранила меня, ибо в ней заключалась правда: если однажды Леда поддалась слабости, то, наказывая ее, я был слишком жесток. Я бросил ее в Эвиане. Я даже не поинтересовался, пережила ли она пожар, и улетел в Лондон. На следующий день Леда, вернувшись, обнаружила, что я уехал в Африку. Едва лишь узнав мой адрес, она немедленно телеграфировала мне. Я не ответил ей телеграммой; я послал письмо, и не сразу. В эти дни отчаяние Леды достигло предела. Бедняжка не могла притворяться. Родители и муж видели ее мучения и, возможно, догадывались о причине, но теперь это уже неважно, потому что однажды утром — словно отказываясь верить, я перечел этот абзац несколько раз,—

выходя с почты (она ходила на почту утром и вечером узнавать, есть ли что-нибудь до востребования), она, видимо, стала переходить улицу, не заметив приближавшегося грузовика,— свидетели говорят, что она бросилась под колеса,— и вот так нелепо оборвалась ее жизнь.

Письмо упало на пол. Я остолбенел. Предположения о вероятной гибели Леды вовсе не подготовили меня к ее смерти. Безо всякой иронии я спрашивал себя, что я делаю в Африке, если Леды нет в живых. Я начал пить и целыми днями слонялся по улицам. Может быть, я ждал, что и меня задавит грузовик. Или что меня затянут городские трущобы или поглотит тропический лес. Работу я бросил. Меня принялись искать, нашли, отвели в музей, разбранили, пригрозили отдать под суд (здешние негры — большие сутяги). Потом им надоело, и они забыли обо мне. В пьяном бреду я говорил себе, что в этих нескончаемых предместьях, выраставших из тропических лесов, может встретиться что угодно. Это лишь вопрос времени, ищи — и когда-нибудь ты найдешь. Понимаешь, найдешь наверняка. Однажды я забрел сюда и с улицы увидел Леду.

Я осведомился, кто здесь хозяин. Мне указали на двух огромных негров, известных под прозвищем Концерн. Я спросил, нет ли у них работы. Они ответили «нет». Однако с первого взгляда было видно, что они лгут, и я остался. Работы хоть отбавляй. Вот уже три года я мою стаканы, поливаю пол, убираю комнаты, где женщины занимаются своим ремеслом, и до сих пор не могу переделать всего. Мне не платят ни гроша — в этом вопросе Концерн непреклонен. Еда мерзкая, но объедки всегда остаются, так что я не жалуюсь. А по ночам, я уже говорил, к моим услугам сарай. Тебе покажется странным, но хотя я живу при баре, мне нечасто перепадает спиртное; здесь кто не платит, тот не пьет; уж и не помню, когда я был пьян.

Надо пояснить, что та женщина была не Леда. Прежде всего, в одежде — разве можно сравнивать. Леда всегда одевалась как истинная аристократка. Здешняя носила дешевые яркие тряпки, такие, как на этих вот несчастных. Потом

прозвище. Я не знаю ее настоящего имени, но все называли ее Лето — глупо, не правда ли. И так во всем. Она была не такой молодой, не такой изящной, не такой красивой. Но в вечерних сумерках, после рюмки-другой (тогда у меня еще водились деньги) я видел ее Ледой. Иллюзия была полной. Да простит меня бог, но однажды вечером, глядя на ее лицо, я спросил себя, променял бы я ее на настоящую и что выиграл бы при этом. Через миг я опомнился, и меня бросило в дрожь.

Женщина оставила меня, и очень скоро. Она ушла к какому-то парню с тупым взглядом. Теперь, вспоминая ее, я, даже очень постаравшись, не спутаю ее с Ледой. Меня удерживала в этой конуре лишь сила привычки, но я остался, точно дожидаясь чего-то. Год спустя, в этом феврале, после пожара в бараке, который тут называли «Ковчегом», возникла кошка Лавиния. Для тебя все равно, что одна кошка, что другая. Ты не разбираешься в кошках. А у специалиста особый глаз. Врач умеет смотреть на больного, механик — на машину. Пусть это звучит смешно, но я умею смотреть на кошек. И поэтому уверяю тебя, что эта кошка — Лавиния, а не просто похожий на нее зверек. Не вздумай высчитывать сейчас возраст кошки, которая, уцелев при пожаре в Эвиане, могла бы неизвестно как, после нового пожара, оказаться в этом африканском кафе. Я уже прикидывал: та Лавиния была бы теперь старой, а эта — стоит только заглянуть ей в пасть — молодая кошка, ей два с половиной года — ровно столько, сколько было Лавинии в Эвиане. Но не надо делать вывод, что это две разные кошки. Здешняя кошка — Лавиния, это говорю тебе я, поначалу обжегшись на Лето. Между подлинным и подобным — огромная разница. Если ты захочешь объяснений, я напомню тебе про вечное возвращение, о котором говорит Ницше и кое-кто еще. Перед нами пример вечного возвращения, пока что ограниченный одной кошкой. Нежданный случай вновь соединил элементы, первоначально слагавшие животное и рассеянные при пожаре отеля, и соединил их совершенно так же, в точно таком же по-

рядке. Чисто материальное объяснение положило бы конец моим надеждам. Оно перечеркнуло бы малейшую вероятность того, что дважды за короткий период моей жизни может случиться необычайное. Подумай лишь, ведь воспроизвести Лавинию не менее сложно, чем воспроизвести Леду,— и ты поймешь всю тяжесть моей кары. Из царства смерти мне возвращают не саму возлюбленную, а ее кошку! Как часто трогал меня миф об Орфее! В этом мифе жестокость, по крайней мере, не усугубилась сарказмом.

Хотя здешние столики похожи на те, что стоят в любом кафе Европы или нашей страны, не забывай, что мы на краю тропического леса — лаборатории, откуда выходит непредсказуемое. Несколько лет назад я переступил через такой край и с тех пор блуждаю по неведомой земле. Каждому человеку суждено заглянуть сюда однажды — через край судьбы, через край удачи и неудачи; а я здесь живу. Поэтому я не считаю эти возвращения или возникновения реальными фактами, я вижу в них знаки. Сначала Лето — приближение к действительности; затем Лавиния, та же самая Лавиния, наконец, ты. Прости, если тебе неприятно или страшно, что я впутываю тебя в нечто сверхъестественное, но все вы складываетесь в колеблющийся рисунок, который, устоявшись, в конце концов даст Леду.

— Я,— быстро ответил я, словно желая как можно скорее подчеркнуть всю естественность моего присутствия,— приехал сюда круизом. Сейчас я возвращаюсь на пароход. Позволишь ли ты, Веблен, дать тебе один совет? Ты поедешь со мной, а я договорюсь с капитаном и улажу вопрос с деньгами и паспортом.

— Я остаюсь здесь до появления Леды,— заявил Веблен и взвизгнул (этот звук напугал меня дважды, ибо его тут же повторил попугай).

Оказалось, что громадный негр, подойдя сзади, больно ткнул моего друга пальцем в бок.

— Половина Концерна,— пояснил Веблен,— напоминает, что я пренебрегаю работой. Одна из женщин проводила гостя, надо привести комнату в порядок. Не уходи. Я вер-

нусь сию же минуту. А по дороге забегу в конуру и принесу тебе письмо кузины (ты увидишь, что оно существует) и фотографию Леды с кошкой.

— Один вопрос, Британец: это Лавиния?

— Да,— ответил он, убегая трусцой в сторону двора под пристальным взглядом негра.

Кошка не пошла за ним. Она потерлась о мои ноги. Если бы я захотел, я мог бы взять ее с собой.

Я не стал дожидаться своего несчастного друга и покинул его навсегда. Кажется, я все-таки расплатился, вышел на улицу, к счастью, сразу нашел такси и вернулся на корабль. Вдохнув особый пароходный запах, я почувствовал себя дома, и меня охватила неимоверная слабость, сотканная из облегчения и радости. Наверное, Веблен не ошибся. Мне и впрямь почему-то было страшно.

Как рыть могилу

Рауль Аревало закрыл окна, опустил жалюзи, один за другим закрепил шпингалеты, подтянул обе створки входной двери, толкнул задвижку, повернул ключ, наложил тяжелый железный засов. Облокотясь о стойку, его жена негромко сказала: — Какая тишина! Даже моря не слышно.

— Мы никогда не закрываемся, Хулия,— напомнил муж.— Если кто-нибудь придет, он насторожится, увидев запертые двери.

— Еще один посетитель посреди ночи? — возразила Хулия.— Ты в своем уме? Если бы клиенты этак шли один за другим, мы бы не сидели в долгах. Потуши люстру.

Муж подчинился; в зале стало почти темно, горела лишь лампа над стойкой.

— Ты себе как хочешь,— сказал Аревало, опускаясь на стул у столика, покрытого клетчатой скатертью,— но я не понимаю, почему нет другого выхода.

Оба были хороши собой и так молоды, что никто не

принял бы их за хозяев. Хулия, белокурая, коротко стриженная девушка, подошла к столу, оперлась о него руками и, глядя на мужа сверху, в упор, ответила тихо, но твердо: — Другого выхода нет.— Не знаю,— недовольно отозвался Аревало.— Мы были счастливы, хотя и не получали прибыли.— Потише,— оборвала его Хулия.

Она подняла руку и, прислушиваясь, обернулась к лестнице.— Все еще ходит. Как долго не ложится. Так она никогда не уснет.

— Я спрашиваю себя,— продолжал Аревало,— сможем ли мы потом быть счастливыми с таким грузом на совести.

Они познакомились два года назад, в Некочеа, встретившись в приморской гостинице — она отдыхала с родителями, он один,— и захотели пожениться, больше не возвращаться в Буэнос-Айрес, на опостылевшую службу; их мечтой было открыть кафе где-нибудь в уединенном месте, на скалах, над морем. Все оказалось невыполнимым, даже женитьба, потому что у них не было денег. Однажды, проезжая на автобусе вдоль скалистого берега, они увидели одинокий дом из красного кирпича под серой шиферной крышей — он стоял у дороги в окружении сосен, у самого обрыва, а рядом, почти скрытое кустами бирючины, виднелось объявление: «Идеально для кафе. Продается». Они сказали друг другу, что все это похоже на сон, и действительно, точно во сне, с той минуты трудностей как не бывало. Присев вечером на скамейку возле гостиницы, они познакомились с благожелательным господином, которому рассказали о своих безумных проектах. Этот господин знал другого господина, готового дать деньги взаймы, если молодые люди затем возьмут его в долю. Короче говоря, они поженились, открыли кафе, но перед тем замазали на вывеске надпись «Фонарик» и написали «Греза».

Пожалуй, кое-кто сказал бы, что менять название, более подходящее для кафе,— плохая примета, но бесспорно одно: это уединенное место, воплощенная мечта молодых людей, было очень живописно, однако клиенты сюда не шли. Наконец Хулия и Аревало поняли: им никогда не

скопить достаточной суммы, чтобы, уплатив налоги, полностью отдать долг, а тем временем проценты головокружительно возрастали. С юной горячностью они и слышать не хотели о том, чтобы потерять свою «Грезу», вернуться в Буэнос-Айрес, снова тянуть лямку — каждый в своей конторе. Все поначалу складывалось так хорошо, что теперь, когда все пошло плохо, им казалось, будто судьба, озлившись, вдруг подставила им подножку. С каждым днем они становились все беднее, все влюбленнее, все счастливее оттого, что живут в этом доме, с каждым днем они все больше боялись его потерять, и вот, словно переодетый ангел, посланный небесами, чтобы их испытать, или словно врач-кудесник с безотказной панацеей в чемодане, перед ними предстала незнакомая пожилая дама; сейчас она раздевалась на втором этаже рядом с клубящейся ванной, куда лилась тугая струя горячей воды.

Чуть раньше, сидя в одиночестве в пустом зале у одного из столиков, которые тщетно ожидали гостей, они проверили книги счетов и опять завели безнадежный разговор.— Сколько ни ворошить бумаги, денег мы в них не найдем,— сказал Аревало, которого все это быстро утомляло.— День платежа на носу.— Но мы не можем сдаваться,— ответила Хулия.

— Дело не в том, сдаваться или не сдаваться, просто в наших разговорах мало толку, словами чуда не сотворишь. Что нам остается? Разослать рекламные письма в Некочеа и Мирамар? Последние обошлись нам недешево. А результат? Явились несколько дам, выпили по чашке чаю и не пожелали уплатить наценку.

— Значит, ты предлагаешь признать себя побежденными и вернуться в Буэнос-Айрес?

— Мы будем счастливы где угодно.

Хулия ответила, что «ее тошнит от пустых фраз», что в Буэнос-Айресе они будут видеться только по субботам и воскресеньям, что ей непонятно, почему при этом они будут счастливы, а кроме того, в конторе, куда он поступит, обязательно найдутся женщины.

— В конце концов тебе понравится менее уродливая,— заключила она.— Ты мне не доверяешь,— сказал он.— Не доверяю? Вовсе нет. Просто мужчина и женщина, проводящие дни под одной крышей, обязательно окажутся в одной постели.

Раздраженно закрывая черную тетрадь, Аревало ответил: — Я не хочу возвращаться; что может быть лучше, чем жить здесь, но если сию минуту вдруг не появится ангел с чемоданом, полным денег...— Что это? — прервала его Хулия.

Два желтых параллельных луча стремительно перечеркнули зал. Потом раздался шум автомобиля, и вскоре в дверях появилась дама; на ней была круглая шляпа, из-под которой выбивались седые пряди, слегка съехавший набок дорожный плащ, а в правой руке она крепко сжимала чемодан. Дама посмотрела на них и улыбнулась, словно старым знакомым.

— У вас есть комната? — спросила она.— Вы можете сдать мне комнату? Только на одну ночь. Есть я не хочу, но мне нужна комната, чтобы переночевать, и, если можно, ванна погорячее...

Они сказали «конечно», и дама принялась радостно повторять «спасибо, спасибо».

Потом она пустилась в объяснения, многословно, чуть нервно, тем деланно оживленным тоном, каким щебечут богатые дамы на светских собраниях: — При выезде уж не знаю из какого городка я сбилась с пути, конечно же, повернула налево, когда мне, конечно же, надо было повернуть направо. И вот я оказалась здесь, у вас, возле Мирамара, да? — а меня ждут в гостинице в Некочеа. Но знаете, что я вам скажу? Я очень рада, потому что вы такие молодые и такие красивые оба — да, красивые, мне можно так говорить, ведь я старуха,— и внушаете доверие. Чтобы совсем успокоиться, я хочу вам сразу же открыть один секрет: мне было страшно, ведь уже темно, я заблудилась, в чемодане у меня куча денег, а теперь готовы убить любого за самую малость. Завтра к обеду я хочу быть

в Некочеа, успею, как вы думаете? В три часа там на аукционе будут продавать один дом, а дом этот мне захотелось купить, как только я его увидела,— он стоит на приморской дороге, над обрывом, с окнами на море, просто мечта, мечта всей моей жизни.

— Я провожу сеньору наверх, в ее комнату,— сказала Хулия,— а ты разожги котел.

Через несколько минут, когда они опять оказались вдвоем в зале, Аревало сказал: — Уж купила бы она этот дом. Бедная старуха, у нее те же вкусы, что у нас.— Предупреждаю, меня ты не растрогаешь,— ответила Хулия и расхохоталась.— Если подвернулся грандиозный случай, его нельзя упускать.— Какой случай? — спросил Аревало, делая вид, что не понимает.— Ангел с чемоданом,— сказала Хулия.

Словно сделавшись чужими, они в молчании смотрели друг на друга. Наверху скрипели доски пола: дама ходила по комнате.

— Она ехала в Некочеа и заблудилась,— продолжала Хулия.— Сейчас она могла очутиться где угодно. Только мы с тобой знаем, что она здесь.

— И знаем также, что у нее в чемодане куча денег,— подхватил Аревало.— Она сама сказала, а зачем бы ей нас обманывать? — Ты начинаешь понимать,— почти печально пробормотала Хулия.

— Неужели ты хочешь, чтобы я ее убил?

— То же самое я услышала, когда послала тебя зарезать первого цыпленка. Скольких ты зарезал с тех пор?

— Вот так взять и воткнуть нож — чтобы брызнула старушечья кровь...

— Сомневаюсь, что ты отличишь старушечью кровь от цыплячьей; но не беспокойся: крови не будет. Когда она заснет, надо найти палку...

— Ударить ее палкой по голове? Я не могу.

— Как это не могу? Ударить палкой — значит ударить палкой, а по столу или по голове, тебе не все равно? Или старуха, или мы. Или старуха купит свой дом...

— Ясно, ясно, но я тебя не узнаю. Откуда такая свирепость...— Не к месту улыбнувшись, Хулия заявила: — Женщина должна защищать свой очаг.

— Сегодня ты свирепа, как волчица.

— Если понадобится, я буду защищать его, как волчица. Среди твоих друзей есть счастливые браки? Среди моих нет. Сказать тебе правду? Все определяют условия жизни. В таком городе, как Буэнос-Айрес, люди все время возбуждены, кругом столько соблазнов. Если же нет денег, то все еще хуже. А здесь нам с тобой, Рауль, ничего не грозит, потому что нам никогда не скучно вместе. Объяснить мой план?

По дороге проехала машина. Наверху слышались шаги.

— Нет,— сказал Аревало.— Я ничего не хочу себе представлять. Иначе мне станет ее жаль, и я не смогу... Приказывай, я буду выполнять.

— Хорошо. Закрой все — двери, окна, жалюзи.

Рауль Аревало закрыл окна, опустил жалюзи, один за другим закрепил шпингалеты, подтянул обе створки входной двери, толкнул задвижку, повернул ключ, наложил тяжелый железный засов.

Они поговорили о том, какая тишина вдруг настала в доме, о том, что будет, если появится посетитель, о том, нет ли у них другого выхода и смогут ли они быть счастливы с преступлением на совести.

— Где грабли? — спросила Хулия.

— В подвале, с инструментами.

— Пойдем в подвал. Дадим сеньоре время, пусть заснет покрепче, а ты пока постолярничай. Сделай для грабель новую ручку, только покороче.

Точно прилежный работник, Аревало принялся за дело. Но потом все же спросил: — А это для чего? — Не спрашивай, если не хочешь ничего себе представлять. Теперь прибей на конце перпендикулярную планку пошире, чем железный брус грабель.

Пока Аревало работал, Хулия перебирала дрова и подбрасывала поленья в огонь.

— Сеньора уже искупалась,— сказал Аревало.

Сжимая в руке толстое полено, похожее на булаву, Хулия ответила: — Неважно. Не жадничай. Теперь мы богаты. Хочу, чтобы у нас была горячая вода.

И потом после паузы объявила: — Я оставлю тебя на минутку. Схожу к себе и вернусь. Смотри не сбеги.

Аревало с еще большим пылом углубился в работу. Его жена вернулась с парой кожаных перчаток и флаконом спирта.

— Почему ты никогда не покупаешь себе перчаток? — рассеянно спросила она, поставила флакон у поленницы и, не ожидая ответа, продолжала: — Поверь, пара перчаток никогда не помешает. Новые грабли уже готовы? Пойдем наверх, ты понесешь одно, я другое. Ах, я и забыла об этом полене.

Она подхватила полено, похожее на булаву, и оба вернулись в зал. Поставили грабли у дверей. Хулия прошла за стойку, взяла металлический поднос, бокал и графин, наполнила графин водой.

— На случай, если она проснется, ведь в этом возрасте спят очень чутко — если не слишком крепко, как дети,— я пойду впереди с подносом. Ты держись за мной, вот с этим.

Она указала на полено, лежащее на столе. Аревало заколебался; Хулия взяла полено и вложила ему в руку.

— Разве я не стою небольшого усилия? — спросила она, улыбаясь, и поцеловала его в щеку.— Почему бы нам не глотнуть чего-нибудь? — предложил Аревало.

— Мне надо иметь ясную голову, а у тебя для бодрости есть я.

— Давай кончим поскорее,— попросил Аревало.— Куда торопиться? — ответила Хулия.

Они начали подниматься по лестнице.

— Под тобой ступени не скрипят,— сказал Аревало,— а я иду как медведь. Отчего я так неуклюж? — Лучше бы они не скрипели,— заметила Хулия.— Неприятно будет, если она проснется.

— Еще один автомобиль на дороге. Почему сегодня их так много?

— Не больше, чем всегда.

— Только бы проезжали мимо. Кажется, один остановился? — Нет, уже уехал,— заверила его Хулия.— А этот шум? — спросил Аревало.

— Гудит в трубе.

Хулия зажгла свет в верхнем коридоре. Они подошли к комнате. Очень осторожно Хулия повернула ручку и приоткрыла дверь. Аревало уперся взглядом в затылок жены, только в затылок жены; потом вдруг отклонил голову и глянул внутрь. В его поле зрения попадала лишь пустая часть комнаты, такая же, как всегда: кретоновые занавески на окне, кусок изножия с украшениями, кресло в прованском стиле. Мягким и уверенным движением Хулия распахнула дверь. Все звуки, такие разнообразные до сих пор, внезапно смолкли. В тишине было что-то неестественное: тикали часы, но казалось, бедная женщина на постели уже не дышит. Может быть, она поджидала их, увидела и затаила дыхание. В кровати, повернувшись к ним спиной, она почему-то представлялась огромной, этакая темная волнистая глыба; выше в полумраке угадывались голова и подушка. Вдруг раздался храп. Наверное, боясь, что Аревало разжалобится, Хулия стиснула ему руку и прошептала: — Давай.

Рауль шагнул в пространство между кроватью и стеной и поднял полено. Потом с силой опустил. У женщины вырвался глухой стон, надрывное коровье мычание. Аревало ударил еще раз.

— Хватит,— приказала Хулия.— Посмотрю, мертва ли она.

Она зажгла настольную лампу. Став на колени, осмотрела рану, прижалась ухом к груди старой дамы. Наконец встала.

— Молодцом,— сказала она.

Положив обе руки на плечи мужа, она взглянула на него в упор, притянула к себе, легко поцеловала. Аревало брезгливо передернуло, но он сдержался.

— Раулито,— одобрительно прошептала Хулия.

Она взяла полено из его руки.

— Гладкое,— заметила она, проводя по коре пальцем в перчатке.— Надо убедиться, не осталось ли щепок в ране.

Положив полено на стол, она вернулась к покойной. Словно размышляя вслух, добавила: — Все равно рану промоет.

Неопределенным жестом она указала на белье, сложенное на стуле, платье, висящее на вешалке.

— Дай все сюда,— сказала она. Одевая мертвую, она безразлично заметила: — Если тебе неприятно, не смотри.

Пошарив в карманах, она извлекла ключи. Потом подхватила труп под мышки и выволокла из постели. Аревало сделал шаг вперед, чтобы помочь.

— Предоставь это мне,— удержала его Хулия.— Не касайся ее. У тебя нет перчаток. Я не слишком верю в эти сказки об отпечатках пальцев, но рисковать не к чему. — Ты очень сильная,— сказал Аревало.— Какая тяжесть,— откликнулась Хулия.

Действительно, из-за возни с трупом нервы у обоих все-таки сдали. Хулия не позволяла ей помогать, и потому спуск по лестнице изобиловал всякими неожиданностями и напоминал пантомиму. Пятки мертвой колотили по лестнице.— Точно барабан,— сказал Аревало.

— Барабан в цирке перед смертельным номером.

Хулия откинулась на перила, чтобы передохнуть и посмеяться.

— Какая ты хорошенькая,— восхищенно сказал Аревало.

— Будь посерьезнее,— попросила она и закрылась руками.— Только бы нам не помешали.

Звуки возобновились, особенно слышен был гул в трубе.

Оставив труп у лестницы, на полу, они поднялись наверх. Хулия перепробовала несколько ключей и наконец открыла чемодан. Сунула обе руки внутрь и затем показала мужу: в каждой был зажат набитый конверт. Она передала конверты Аревало, а сама подхватила шляпу дамы, чемодан, полено.

— Надо подумать, куда спрятать деньги,— сказала она.— Пускай полежат какое-то время.

Оба спустились в зал. Дурашливым жестом Хулия глубоко надвинула шляпу на голову покойной. Сбежала в подвал, облила полено спиртом, сунула в огонь. Потом вернулась.

— Открой дверь и выгляни наружу,— попросила она.

Аревало подчинился.— Никого нет,— сказал он шепотом.

Взявшись за руки, они вышли из дома. Стояла прохладная ночь, светила луна, шумело море. Хулия вошла в зал, вынесла чемодан, открыла дверцу машины — огромного старомодного «паккарда»,— бросила чемодан внутрь.

— Пойдем за ней,— прошептала Хулия и тут же повысила голос:— Помоги мне. Я больше не могу таскать эту тяжесть. К черту отпечатки пальцев.

Они погасили свет, вынесли даму, посадили ее между собой. Хулия включила мотор. Не зажигая огней, они подъехали туда, где дорога шла над самым обрывом,— это было недалеко, метрах в двухстах от их «Грезы». Когда Хулия остановила «паккард», переднее левое колесо зависло над пропастью. Открыв дверцу, она приказала мужу: — Выходи.

— Не думай, что тут много места,— возразил Аревало, осторожно пробираясь между машиной и обрывом.

Хулия тоже вышла и толкнула труп за руль. Казалось, автомобиль сам по себе скользит в пропасть.

— Берегись! — крикнул Аревало.

Хулия захлопнула дверцу, наклонилась над обрывом, стукнула каблуком о край, посмотрела, как падает комок земли. Море кипело внизу, угольно-черное, в белых клочьях узорной пены.

— Вода еще поднимается,— заверила Хулия.— Один толчок — и мы свободны!

Они приготовились.

— Когда я скажу «давай», толкаем изо всех сил,— предупредила она.— Ну, давай!

«Паккард» тяжело свалился с обрыва — в его падении было что-то живое и жалкое,— и молодые люди упали на землю, на траву, у края пропасти, судорожно обнимая друг

друга. Хулия рыдала, как будто ничто на свете никогда не сможет ее утешить, и улыбалась сквозь слезы, когда Аревало целовал ее мокрое лицо. Наконец они встали и глянули вниз.

— Лежит,— сказал Аревало.

— Лучше бы все унесло в море, но если и не унесет, тоже не страшно.

Они пошли назад. Граблями уничтожили следы автомобиля на дорожке и на земляном дворе. Еще до того как они убрали все улики и привели дом в идеальный порядок, занялся новый день.

— Пойдем поглядим, сколько у нас денег,— сказал Аревало.

Достав конверты, они принялись считать.

— Двести семь тысяч песо,— объявила Хулия.

Они порассуждали о том, что если женщина везла с собой больше двухсот тысяч песо в качестве задатка, она готова была заплатить за дом более двух миллионов; что за последние годы деньги очень упали в цене; что это им на руку, ибо суммы задатка хватит, чтобы расплатиться за дом и отдать проценты кредитору.

Уже взбодрившись, Хулия сказала: — К счастью, есть горячая вода. Вымоемся вместе и хорошенько позавтракаем.

Честно сказать, несколько дней им было неспокойно. Хулия призывала к хладнокровию, говорила, что каждый прошедший день — очко в их пользу. Они не знали, унесло ли море автомобиль или выбросило на берег.

— Хочешь, я пойду посмотрю? — предложила Хулия.

— И не думай,— ответил Аревало.— Только представь, вдруг увидят, как мы там шныряем?

Аревало с нетерпением ожидал автобуса, который, проходя после обеда, оставлял им газеты. Поначалу ни газеты, ни радио не сообщали об исчезновении дамы. Казалось, будто весь эпизод приснился им, убийцам.

Однажды ночью Аревало спросил жену: — Как ты думаешь, я смогу молиться? Меня тянет помолиться, попросить сверхъестественные силы, чтобы море унесло машину.

Нам жилось бы спокойнее. Никому и в голову бы не пришло связывать нас с этой чертовой старухой.

— Не бойся,— ответила Хулия.— Самое худшее, что может произойти,— нас вызовут на допрос. Это не смертельно: что значит какой-то час в полицейском участке по сравнению со всей нашей счастливой жизнью? Неужели мы настолько безвольны, что не сможем это вынести? Против нас нет никаких улик. Как могут взвалить на нас вину за то, что случилось с бедной дамой?

— В тот вечер мы легли поздно,— размышлял вслух Аревало.— Этого нельзя отрицать. Любой проезжий мог увидеть свет.

— Мы легли поздно, но не слышали падения автомобиля.

— Нет. Мы ничего не слышали. Но что мы делали?

— Слушали радио.

— Мы даже не знаем, что передавали в тот вечер.

— Разговаривали.

— О чем? Если мы скажем правду, мы наведем их на мысль о мотивах преступления. Мы были разорены, и вдруг с неба сваливается старуха с чемоданом, полным денег.

— Если все, у кого нет денег, начнут убивать налево и направо...

— Сейчас нам нельзя отдавать долг,— сказал Аревало.

— И чтобы не вызвать подозрений,— саркастически продолжила Хулия,— мы распростимся с «Грезой» и отправимся в Буэнос-Айрес жить как последние нищие. Ни за что на свете. Если хочешь, мы не заплатим ни песо, но я поеду к кредитору. Как-нибудь я его уломаю. Я пообещаю ему, что если он даст нам передышку, дела поправятся, и он получит все свои деньги. Я ведь знаю, что могу заплатить, потому буду говорить уверенно и сумею его убедить.

Однажды утром радио, а позже и газеты заговорили об исчезнувшей даме.

— «В результате беседы с комиссаром Гарибето,— прочел Аревало,— у нашего корреспондента сложилось мнение, что полиция располагает определенными данными, не позволяющими исключить возможность преступления». Слы-

шишь? Начинают толковать о преступлении.

— Это несчастный случай,— возразила Хулия.— Постепенно они сами убедятся. Сейчас еще полиция не исключает возможности того, что сеньора жива и здорова и блуждает бог знает где. Поэтому здесь нет ни слова о деньгах, чтобы никому не вздумалось треснуть ее палкой по голове.

Стоял сияющий майский день. Они сидели у окна, греясь на солнце.

— Что такое «определенные данные»? — спросил Аревало.

— Деньги,— без колебаний заявила Хулия.— Только деньги. Кто-нибудь пришел и рассказал, что сеньора разъезжала с баснословной суммой в чемодане.

Вдруг Аревало спросил: — Что это там?

Большая группа людей толпилась на дороге, в том месте, откуда упал автомобиль.

— Они обнаружили машину.

— Пойдем посмотрим,— предложила Хулия.— Будет подозрительно, если мы не проявим любопытства.

— Я не пойду,— ответил Аревало.

Пойти им не удалось. Весь день в кафе были посетители. Наверное возбужденный этим обстоятельством, Аревало был оживлен и разговорчив; он расспрашивал о случившемся, высказывал мнение, что в иных местах дорога подходит слишком близко к краю обрыва, но признавал, что, к сожалению, автомобилистам свойственна неосторожность. Чуть встревоженная, Хулия смотрела на него с восхищением.

Вдоль обочины выстроились автомобили. Позже Аревало и Хулия заметили посреди скопища машин и людей какое-то длинношеее животное или насекомое невероятных размеров. Это был кран. Кто-то сказал, что кран простоит тут до утра, потому что уже смеркается. Другой сообщил: — Внутри автомобиля — отличного «паккарда» колониальных времен — обнаружили даже два трупа.

— Они, поди, целовались, точно голубки в гнездышке, и вдруг — кувырк! — «паккард» вылетает за край обрыва и шлепается в воду.

— Прошу прощения,— вмешался тонкий голос,— но автомобиль не «паккард», а «кадиллак».

В «Грезу» вошел полицейский, офицер, в сопровождении седого господина в нахлобученной шляпе и зеленом плаще. Сняв шляпу, господин поздоровался с Хулией. Дружески взглянув на нее, он заметил: — Работаем, а?

— Людям всегда кажется, что кафе приносит бог знает какой доход,— ответила Хулия.— К сожалению, не каждый день дела идут, как сегодня.

— Но вы не жалуетесь, верно?

— Нет, я не жалуюсь.

Обращаясь к полицейскому, господин в плаще заметил:

— Если бы мы не пахали на наше управление, а обзавелись таким уютненьким кафе или баром, мы бы тоже не жаловались. Терпение, Маторрас.

Некоторое время спустя господин в зеленом плаще спросил Хулию: — Вы слышали что-нибудь в ночь происшествия? — А когда это было? — спросила она.— Очевидно, в пятницу ночью,— сказал полицейский в форме.— В пятницу ночью? — переспросил Аревало.— По-моему, я ничего не слышал. Не помню.— Я тоже,— сказала Хулия.

Извиняющимся тоном господин в плаще сообщил: — Наверное, через несколько дней мы вас побеспокоим и вызовем в Мирамар, в комиссариат, дать показания.

— А тем временем пришлете полицейского, чтобы он обслуживал клиентов? — спросила Хулия.

Господин улыбнулся.

— Это было бы крайне неосторожно,— сказал он.— На жалованье, которое им платят, не разживешься.

В эту ночь молодые люди почти не спали. Лежа в постели, они говорили о визите полицейских, о том, какой линии придерживаться в ходе допроса, если их вызовут; об автомобиле с трупом, который все еще лежал под обрывом. На рассвете Аревало заговорил о буре, об урагане — он уже стих, но волны наверняка унесли машину в море. Еще не окончив фразу, он уже понял, что спал и буря ему приснилась. Оба рассмеялись.

Наутро кран поднял автомобиль вместе с покойной. Один из клиентов, попросивший анисовую настойку, объявил: — Ее принесут сюда.

Они ждали и ждали, но потом выяснилось, что труп увезли в Мирамар.

— Сейчас столько современных аппаратов,— сказал Аревало,— экспертиза мигом обнаружит, что раны старухи не от ударов об углы автомобиля.

— И ты веришь в это? — спросила Хулия.— Вся эта экспертиза проводится в крохотной комнатушке, где так называемый эксперт греет на примусе мате. Посмотрим, что они обнаружат, когда перед ними положат старуху, вымоченную в морской воде.

Прошла неделя, в ходе которой у них было весьма оживленно. Иные из тех, кто побывал здесь в день, когда нашли автомобиль, вернулись с семьей, с детьми или парами.

— Видишь, как я была права,— говорила Хулия.— «Греза» — замечательное место. Просто несправедливо, что сюда никто не приходил. Теперь нас уже знают, к нам будут ездить. Если повезет, так во всем.

Пришла повестка от следователя.

— Вот еще, не пойду, пусть хоть солдат присылают,— возмутился Аревало.

В назначенный день они явились минута в минуту. Первой вошла Хулия. Аревало, когда подошел его черед, слегка разнервничался. За столом его поджидал седой господин, тот, что, одетый в зеленый плащ, навестил их в «Грезе»; теперь он был без плаща и приветливо улыбался. Два-три раза Аревало подносил платок к глазам — почему-то они слезились. К концу беседы он почувствовал себя уверенно и спокойно, словно сидел в кафе с друзьями, и подумал (хотя позже и отрицал это), что следователь — сама любезность. Наконец седой господин сказал: — Большое спасибо. Вы можете идти. Поздравляю вас.— И после паузы добавил, пожалуй, чуть презрительно: — С такой женой.

Они вернулись в «Грезу». Хулия принялась за стряпню, Аревало накрывал на стол.

— Что за мерзкий народ,— твердил он.— За ними вся государственная машина, им ничего не стоит изничтожить любого, кто имеет несчастье попасть в их лапы. Ты сносишь их оскорбления в надежде, что тебе еще удастся выскочить и глотнуть свежего воздуха, не дай бог оступиться — тебя начнут пытать, ты скажешь что попало и будешь гнить в тюрьме, пока не сдохнешь. Даю слово, знай я, что меня не тронут, я пристукнул бы этого, в плаще.

— Ты точно разъяренный ягуар,— смеясь, сказала Хулия.— Все уже позади.

— Позади, но только на сегодня. А кто знает, сколько таких бесед — или кое-чего похуже — ждет нас в будущем.

— Не думаю. Раньше, чем ты предполагаешь, дело забудется.

— Только бы поскорее. Иногда я спрашиваю себя, так ли уж не правы те, кто говорит, что за все надо платить.

— Платить? Какая ерунда. Не задумывайся слишком, и все образуется,— успокоила его Хулия.

Их вызвали еще раз, состоялся еще один диалог с господином в зеленом плаще; все было совсем не страшно, а затем наступило облегчение. Прошло несколько месяцев. Аревало просто не верилось, но Хулия, похоже, была права: о преступлении и впрямь забыли. Благоразумно прося всякий раз новую отсрочку, словно у них не было денег, они выплатили долг. К весне они купили себе старый «пирс-эрроу». Хотя машина пожирала много бензина — поэтому она и стоила так дешево,— молодые люди пристрастились к прогулкам и почти каждый день ездили в Мирамар за продуктами или под каким-нибудь другим предлогом. В течение всего лета они уезжали часов в девять утра, а в десять уже возвращались, но в апреле, устав поджидать клиентов, гуляли и после обеда. Приятно было прокатиться по приморской дороге.

Однажды к вечеру, возвращаясь домой, они впервые заметили человечка. Веселые, поглощенные друг другом, как двое влюбленных, они разговаривали о море, о том, как завораживает вид этих просторов, и вдруг увидели идущий

за ними автомобиль. За рулем сидел щуплый человечек. В его назойливости им почудился какой-то темный умысел. Аревало обнаружил преследователя, взглянув в зеркало: тот бесстрастно вел машину, такой чинный и невозмутимый,— как возненавидел вскоре Аревало его лицо; передний бампер «опеля» почти касался заднего бампера их «пирс-эрроу». Поначалу Аревало решил, что это один из тех неосторожных автомобилистов, которые никогда не научатся хорошо вести машину. Боясь, что при первом торможении «опель» врежется в него, Аревало высунул руку, помахал ею, уступая дорогу, слегка сбавил скорость; но человечек тоже сбавил скорость и по-прежнему держался позади. Тогда Аревало решил оторваться. Подрагивая от напряжения, «пирс-эрроу» набрал скорость сто километров в час; но современная машина преследователя была все так же рядом.

— Чего надо этому кретину? — возмущенно воскликнул Аревало.— Что он к нам пристал? Остановиться и врезать ему как следует? — Нам,— напомнила Хулия,— вовсе ни к чему приключения, которые заканчиваются в полиции.

Аревало уже настолько забыл о старой даме, что чуть было не спросил почему.

Когда на шоссе появились другие машины, «пирс-эрроу», управляемый умелой рукой, замешался среди них и ускользнул от непонятного преследователя. Подъезжая к «Грезе», они снова оживились: Хулия расхваливала мастерство мужа — и это при том, что машина у них старая.

Ночью, в постели, им припомнилась встреча на дороге; Аревало спросил, кто же этот человечек, что было у него на уме.

— А может, нам только показалось, что он гнался за нами,— объяснила Хулия,— между тем это был просто рассеянный, незлобивый сеньор, выехавший на прогулку.— Нет,— ответил Аревало.— Он полицейский, или негодяй, или кое-кто похуже.— Надеюсь,— сказала Хулия,— ты не станешь думать теперь, что за все надо платить, что этот нелепый человечек — олицетворение рока, дьявол, преследующий нас за то, что мы сделали.

Аревало безучастно смотрел перед собой и не отвечал.

— Как хорошо я тебя знаю,— улыбнулась его жена.

Он помолчал, а потом начал просительным тоном: — Нам надо уехать, Хулита, понимаешь? Здесь мы попадемся. Нельзя оставаться и ждать, пока нас сцапают.— Он умоляюще посмотрел на нее.— Сегодня человечек, завтра кто-нибудь другой. Понимаешь? Всегда кто-то будет гнаться за нами, пока мы не потеряем голову, пока мы не сдадимся. Давай убежим. А вдруг еще есть время.— Какие глупости,— сказала Хулия. Она повернулась к нему спиной, потушила лампу и заснула.

На следующий день, выехав после обеда, они не встретили человечка, но через день он появился снова. Поворачивая назад, к дому, Аревало увидел его в зеркало. Он захотел оторваться, выжал газ до предела и с неудовольствием отметил, что человечек не отстает, едет все так же близко, впритык. Аревало притормозил, почти остановился, высунул руку, махнул ею, прокричал: — Проезжайте, проезжайте!

Человечку ничего не оставалось, как подчиниться. Он проехал мимо них на одном из опасных участков, где дорога шла над самым обрывом. Молодые люди успели его рассмотреть — лысый, в больших черепаховых очках, торчащие уши, тонкие подстриженные усики. Фары «пирс-эрроу» осветили его лысину и уши.

— Тебе не хочется стукнуть его палкой по голове? — смеясь, спросила Хулия.— Ты видишь его глаза в зеркале? — спросил Аревало.— Он шпионит за нами, таясь.

И тут начались гонки наоборот. Преследователь ехал впереди, он увеличивал или уменьшал скорость по мере того, как увеличивали или уменьшали скорость они.

— Что ему надо? — с плохо скрытым отчаянием спросил Аревало.— Давай остановимся,— ответила Хулия.— Ему придется уехать.— Вот еще. Зачем нам останавливаться? — воскликнул Аревало.

— Чтобы освободиться от него.

— Так мы не освободимся.

— Стой,— повторила Хулия.

Аревало остановил машину. Несколькими метрами впереди человечек тоже затормозил.

— Я его исколочу! — прерывающимся голосом прокричал Аревало.— Не выходи,— попросила Хулия.

Аревало вышел и побежал, но преследователь тронулся с места и не торопясь поехал вперед, вскоре пропав за поворотом.— Теперь надо подождать, пусть отъедет подальше,— сказала Хулия.

— Он не уедет,— сказал Аревало, садясь в машину.

— Давай удерем в другую сторону.

— Удрать? Никоим образом.

— Пожалуйста, подождем десять минут,— попросила его Хулия.

Аревало показал ей часы. Они сидели молча. Не прошло и пяти минут, как он сказал: — Хватит. Клянусь тебе, «опель» стоит за поворотом.

Аревало был прав: за поворотом они сразу же увидели стоящую машину. Аревало яростно нажал на педаль.

— Ты с ума сошел,— прошептала Хулия.

Страх жены словно подстегнул его, и он увеличил скорость. Как бы ни рванул с места «опель», они все равно настигнут его, он еще стоял, а они уже мчались со скоростью больше ста километров в час.

— Теперь мы гонимся за ним,— возбужденно крикнул Аревало.

Они догнали «опель» на другом опасном участке — там, где несколько месяцев назад они сбросили в пропасть машину со старой дамой. Вместо того чтобы объехать «опель» слева, Аревало взял правее; человечек вильнул влево, к обрыву. Аревало шел справа, почти выталкивая другую машину с дороги. Поначалу казалось, что борьба двух упрямцев будет долгой, но внезапно человечек испугался, уступил, свернул еще левее, и молодые люди увидели, как «опель» перелетел через край и упал в пустоту.

— Не останавливайся,— приказала Хулия.— Нас не должны здесь видеть.

— И даже не проверить, жив он или мертв? Всю ночь спрашивать себя, не явится ли он наутро грозным обвинителем?

— Ты прикончил его,— ответила Хулия.— Дал себе волю. Теперь не думай об этом. И не бойся. Если он появится, тогда посмотрим. Черт побери, проигрывать, так достойно.— Я больше не буду думать,— сказал Аревало.

Первое убийство — потому, что они убили из-за денег, или потому, что покойная доверилась им, или из-за допросов в полиции, или оттого, что это было в первый раз,— подействовало на них угнетающе. Теперь, совершив новое убийство, они забыли о прежнем; на этот раз их беспричинно раздразнили, ненавистный преследователь гнался за ними по пятам, покушаясь на их благополучие, которым они еще не вполне насладились... После второго убийства они жили счастливо.

Они прожили счастливо несколько дней, вплоть до понедельника, когда в час сиесты в зале появился толстяк. Он был неправдоподобно толст, его огромное дряблое тело расползалось в стороны, как квашня, вот-вот польется через край; у него были тусклые водянистые глаза, бледная кожа, широченный двойной подбородок. Стул, стол, чашечка кофе и стаканчик темной каньи*, которые он спросил,— все по сравнению с ним казалось игрушечным, хрупким.

— Я его где-то видел,— заметил Аревало.— Только не помню где.— Если бы ты его видел, ты бы запомнил. Такого человека не забудешь,— ответила Хулия.

— Он не уходит.

— Пусть себе не уходит. Пусть сидит хоть весь день — лишь бы платил.

Он и просидел у них весь день. И вернулся на следующий. Сел за тот же столик, попросил кофе и темную канью.

— Видишь? — спросил Аревало.

— Что я вижу? — спросила Хулия.

— Еще один человечек.

* Водка из сахариого тростника.

— Некоторая разница все же есть,— ответила Хулия и рассмеялась.

— Не знаю, как ты можешь смеяться,— сказал Аревало.— Я больше не могу. Если он из полиции, лучше знать это сразу. Если позволить ему приходить каждый день и просиживать здесь часами, ничего не говоря и не сводя с нас глаз, у нас в конце концов сдадут нервы; ему останется лишь зарядить капкан — и мы попадемся. Я не хочу больше проводить ночи без сна, ломая голову над тем, что задумал этот новый тип. Я же сказал: всегда кто-нибудь да объявится...

— А может, он ничего не задумал. Просто печальный толстяк...— заметила Хулия.— Я полагаю, лучше всего оставить его в покое, пусть киснет в собственном соку. Переиграть его в его же игру. Если ему угодно являться каждый день, пусть является, платит, и дело с концом.— Так лучше всего,— ответил Аревало,— но в этой игре выигрывает тот, кто дольше выдержит, а я уже на пределе.

Наступил вечер. Толстяк не уходил. Хулия принесла ужин для себя и для мужа. Они поели на стойке.

— Сеньор не будет ужинать? — с полным ртом спросила Хулия толстяка.— Нет, спасибо,— ответил тот.— Ах, хоть бы ты ушел,— вздохнул Аревало, глядя на него.

— Заговорить с ним? — предложила Хулия.— Вытянуть что-нибудь?

— Может, он и не станет говорить с тобой,— отозвался Аревало,— будет отвечать «да, да», «нет, нет».

Но толстяк не уклонился от разговора. Он посетовал на погоду — слишком сухую для посевов,— на людей и их необъяснимые вкусы.

— Как это они до сих пор не разнюхали про ваше кафе? Это самое красивое место на берегу,— сказал он.

— Ну,— сказал Аревало, который прислушивался к разговору, сидя за стойкой,— если вам нравится кафе, значит, вы наш друг. Пусть сеньор просит, что пожелает,— хозяева угощают.

— Раз вы так настаиваете,— отозвался толстяк,— я

выпью еще стаканчик темной каньи.— Потом он согласился еще на один. Он уступал им во всем. Играл с ними в кошки-мышки. И вдруг, словно канья развязала ему язык, он заговорил: — Такое чудесное место, и такие дела происходят. Вот досада.

Взглянув на Хулию, Аревало безнадежно пожал плечами.

— Какие дела? — рассердилась Хулия.

— Я не говорю, что здесь,— признал толстяк,— но рядом, на обрыве. Подумать только, сначала одна машина, потом другая падают в море в том же самом месте. Мы узнали по чистой случайности.

— О чем? — спросила Хулия.— Кто «мы»? — спросил Аревало.

— Мы,— ответил толстяк.— Видите ли, владельца этого «опеля», что свалился в море — его фамилия Трехо,— несколько лет назад постигло несчастье. Его дочка, молодая девушка, утонула, купаясь тут поблизости. Ее унесло в море и так и не выбросило. Человек этот был вдовец; потеряв дочь, он остался один на свете. Он перебрался жить поближе к морю, в те места, где утонула дочь, наверное, ему казалось — он был уже немного не в себе, но это понятно,— что так он будет рядом с ней. Этот сеньор Трехо — может, вы его и встречали: невысокий, щуплый, лысый, с аккуратными усиками и в очках — был добрейшей души человек, он жил, замкнувшись в своем горе, ни с кем не виделся, кроме своего соседа, доктора Лаборде, который как-то лечил его и с тех пор навещал каждый вечер после ужина. Друзья пили кофе, разговаривали, играли партию в шахматы. И так вечер за вечером. Вы-то, молодые, счастливые, скажете мне: ну и жизнь. Привычки других кажутся порой такими нелепыми, но видите ли, эта рутина помогает людям перемогаться, потихоньку существовать. И вот однажды вечером, совсем недавно, сеньор Трехо сыграл партию в шахматы из рук вон плохо.

Толстяк замолчал, словно только что сообщил нечто интересное и крайне важное. Потом спросил: — И знаете почему? — Я не ясновидящая,— отрезала Хулия.

— Потому что в этот день, проезжая по приморской дороге, сеньор Трехо встретил свою дочь. Может, оттого, что он не видел ее мертвой, он убедил себя, что она жива, что это она. По крайней мере, он поверил, будто видел ее. До конца он не обманывался, но эта мысль захватила его. И думая, что видит свою дочь, он знал, что лучше не приближаться, не заговаривать с ней. Бедный сеньор Трехо не хотел, чтобы иллюзия рассеялась. Его друг доктор Лаборде разбранил его в тот вечер. Немыслимо, сказал доктор, чтобы он, Трехо, культурный человек, вел себя как ребенок, играл с глубокими и священными чувствами; это дурно и опасно. Трехо признал, что его друг прав, но заявил, что если сначала умышленно поддался этой игре, то потом в игру вступили какие-то иные, высшие силы, что-то более могучее, другой природы, быть может, судьба. Ибо случилось невероятное: девушка, которую он принял за свою дочь,— видите ли, она ехала в старом автомобиле, которым правил молодой человек,— попыталась ускользнуть. «Эти молодые люди,— сказал сеньор Трехо,— для просто посторонних вели себя необъяснимо. Заметив меня, они бросились удирать, словно она и вправду была моя дочь и по каким-то таинственным причинам хотела скрыться. Я почувствовал, что под моими ногами вдруг разверзлась пропасть, что этот привычный мир вдруг стал сверхъестественным, и все время повторял в душе: не может быть, не может быть». Он понимал, что поступает нехорошо, но попытался догнать их. Молодые люди снова сбежали.

Толстяк смотрел на них, не мигая, своими водянистыми глазами. После паузы он продолжил: — Доктор Лаборде сказал ему, что нельзя приставать к чужим людям. «Надеюсь,— повторил он,— что если ты еще раз встретишь молодых людей, ты не станешь гоняться за ними и надоедать им».— Совет Лаборде был совсем не плох,— отметила Хулия.— Нечего надоедать незнакомым. А почему вы это рассказываете?

— Ваш вопрос вполне уместен,— подтвердил толстяк,— он попал в самую точку. Ведь мысли каждого скрыты от

нас, и мы не знаем, с кем сейчас говорим. А сами кажемся себе прозрачными; но это совсем не так. Ближний знает о нас лишь то, что говорят ему внешние знаки; он поступает, как древние оракулы, разглядывавшие внутренности мертвых животных, следившие за полетом птиц. Система эта далеко не совершенна и приводит к всевозможным ошибкам. Например, сеньор Трехо предположил, будто молодые люди убегают от него оттого, что она его дочь; они же чувствовали за собой бог знает какую вину и приписывали бедному сеньору Трехо бог знает какие намерения. Думается мне, на шоссе были гонки с преследованием, и они привели к несчастному случаю, к гибели Трехо. Несколько месяцев назад в том же месте, при похожих обстоятельствах погибла одна сеньора. Теперь к нам пришел Лаборде и рассказал историю своего друга. Почему-то я сопоставил один несчастный случай или, скажем, один факт с другим. Сеньор, вас я видел в отделе расследований в тот раз, когда мы вызывали вас для дачи показаний, но тогда вы тоже нервничали и, наверное, не помните меня. Цените мою откровенность, я кладу свои карты на стол.

Он посмотрел на часы и положил на стол руки.

— Сейчас мне пора уходить, но времени у меня предостаточно, так что завтра я вернусь...— И, указав на стакан и чашку, спросил: — Сколько с меня?

Толстяк встал, сурово простился и вышел. Аревало сказал, словно обращаясь к себе самому: — Каково?

— У него нет доказательств,— отозвалась Хулия.— Будь у него доказательства, при всем его свободном времени он бы нас арестовал.

— Не спеши, он нас еще арестует,— устало сказал Аревало.— Толстяк идет по верному следу: он расследует наши денежные обстоятельства до и после смерти старухи и найдет ключ.

— Но не доказательства,— настаивала Хулия.

— Зачем доказательства? Ведь есть мы со своей виной на душе. Почему ты не хочешь взглянуть фактам в лицо, Хулия? Нас затравили.

— Давай убежим,— попросила Хулия.
— Поздно. Нас выследят и поймают.
— Будем драться вместе.
— Порознь, Хулия, каждый в своей камере. Выход только один: покончить с собой.
— Покончить с собой?
— Надо уметь проигрывать, ты сама это говорила. Вместе, вдвоем, забыть об этом кошмаре, этой усталости.
— Поговорим завтра. Сейчас тебе надо отдохнуть.
— Нам обоим надо отдохнуть.
— Пошли.
— Ступай. Я приду чуть погодя.
Рауль Аревало закрыл окна, опустил жалюзи, один за другим закрепил шпингалеты, подтянул обе створки входной двери, толкнул задвижку, повернул ключ, наложил тяжелый железный засов.

Чудеса не повторяются

На вокзале Конститусьон у журнального киоска (в ту пору здесь можно было подыскать неплохую книгу для чтения в пути) я повстречал холостяка Греве, с которым мы когда-то учились в лицее. Он спросил, что я тут делаю.
— Собрался в Лас-Флорес,— ответил я,— но по нелепой случайности приехал за час пять до отправления поезда.
— Не мне тебя учить,— сказал он.— Я собрался в Коронель-Принглес, но по нелепой случайности приехал за пятьдесят минут до отправления поезда. Не желаешь зайти в кафе?
Мы пошли в кафе, заказали что-то, и я произнес: — Нередко замечаешь, что в жизни одна полоса сменяет другую. Сегодня у нас полоса ненужных совпадений.— Ненужных? — переспросил Греве.— Ненужных,— поспешил объяснить я, не желая его обидеть,— в том смысле, что они ничего не доказывают.— Не уверен,— ответил он.

— В чем?

— В том, что они ничего не доказывают. Никогда.

Сказанное после паузы, наречие звучало как объяснение — скорее как объяснение загадочное, которое требовало моего вопроса и нового объяснения Греве. Все это обескуражило меня своей сложностью, и, поскольку действительно важным было убедить приятеля, что, говоря о совпадении в нашем случае как о ненужном, я вовсе не хотел назвать ненужной или досадной нашу встречу, я рассказал ему о раздвоении Сомерсета Моэма. Может, я рассказал эту историю потому, что всегда надеюсь встретить собеседника, который подскажет для нее литературную форму. А может, у меня становится привычкой повторяться.

— Это был рейс,— начал я,— парохода компании «Кьюнард» из Нью-Йорка в Саутгемптон. В ресторане моей соседкой по столу оказалась единственная соотечественница, находившаяся на борту,— пожилая сеньора, властная и неугомонная, с которой мы весьма подружились. Помню вечер, когда раздали списки пассажиров. Каждый с головой окунулся в поиски своего имени. Встревоженный — точно отсутствие в списке превращало меня в «зайца»,— я так и не смог отыскать три магических слова... «Спокойно,— сказал я себе.— Разберемся». И тут меня осенило. А что, если эти болваны не поместили меня на букву «Б», а запихнули в «К»? И правда, в списке фигурировал некий «Кесарес, м-р Адольфо Б.», в котором я после недолгих сомнений признал себя. Моя приятельница, избегнув подобных затруднений, все же потратила немало времени на поиски и наконец торжествующе указала пальцем свое имя, напечатанное без ошибок. Меня, однако, больше заинтересовало стоявшее перед ним. Я прочел вслух: — «Моэм, м-р Уильям Сомерсет».

Возвысив голос, чтобы поправить меня, моя соседка прочитала свое собственное имя.

— Нет, сеньора, мне уже известно, как вас зовут,— возразил я.— Просто я удивился, обнаружив в списке пассажиров знаменитого романиста Сомерсета Моэма.

По блеску в ее глазах я понял, что имя ей знакомо. Разве можно сравнить аргентинскую даму прошлого с нынешними девчонками?! Совсем иная культура, иная интеллигентность.

— Сомерсет Моэм,— повторила сеньора.— Ну конечно, я ведь читала одну книгу, дело происходит в Тихом океане. Не знаю уж почему, но меня всегда увлекали все эти тайны Востока.

Она спросила, узна́ю ли я Моэма и нет ли его в ресторане.

— Да,— сказал я,— мне приходилось видеть его на фотографиях. Но здесь его нет.

Оказывается, мне очень повезло, что его не было рядом, ибо сеньора заявила: — Как только он появится, я подойду и скажу, что собираюсь представить ему аргентинского писателя. А что вы думаете? Скажу этому мистеру, что вы — большой писатель.— Прошу вас,— пролепетал я.— Все дело в том,— объявила она,— что мы, аргентинцы, слишком скромны.

— Скромность здесь ни при чем. Будет казаться, что мы напрашиваемся.

— Вот видите? — произнесла она тоном, каким разговаривают с детьми.— Скромность, ложная скромность, гордость — вечно одно и то же. Это болезнь аргентинцев.

Опасаясь обещанного знакомства, на следующий день я по возможности избегал сеньоры. Предосторожность оказалась излишней, ибо Сомерсет Моэм нигде не появлялся, словно путешествовал, укрывшись в своей каюте. Накануне прибытия я сопровождал мою соотечественницу в судовой полицейский участок и в магазин. Старуха не знала усталости — мы бегали по лестницам вверх и вниз, отказавшись от лифта. На промежуточной палубе, в мрачном углу, который оживал при заходе в порт, поскольку становился входным вестибюлем, мы застали такую картину: в кожаном кресле у фотографии малолетних отпрысков британского королевского дома, укутанный словно Филеас Фогг перед путешествием вокруг света в восемьдесят дней, сидел одинокий задумчивый старик, в котором я тот-

час узнал Сомерсета Моэма. Видимо, грозящее знакомство уже воспринималось мной с безразличием и даже казалось невероятным (ведь оно постоянно откладывалось); в общем, я прошептал или, может, закричал, потому что сеньора была туга на ухо: — Это он.

Лучше бы я этого не делал. Ни минуты не колеблясь, под сенью развевающегося, точно знамя, дорожного плаща моя приятельница ринулась в атаку. Помнится, при виде ее я подумал: «Жив еще боевой дух наших воинов, сражавшихся при Майпу, Наварро и Ла-Верде». Совершенно не сознавая бездарности своего английского, дама сумбурно изложила: — Мы хотели с вами познакомиться. Большая честь. Этот сеньор — аргентинский писатель. Мы оба восхищены вами.— Задумчивый старик очнулся и с невозмутимой учтивостью спросил: — Позвольте узнать, почему вы восхищены мной?

Он разглядывал нас со столь присущим ему высокомерным выражением — надменного, но не коварного змея,— которое было известно по фотографиям.

Стремительная, не знающая сомнений сеньора разразилась патриотической речью о том, что аргентинец — хоть по нему и не скажешь — это не индеец с перьями и что до Буэнос-Айреса доходят иностранные романы. Свою тираду она завершила вопросом: — Вот вы, мистер Сомерсет, согласны со мной, что Восток — это чарующая тайна?

Всему есть предел, и я испугался, что меня не за того примут. Тщеславие толкнуло меня вмешаться в разговор: — "Cakes and Ale" — незабываемый роман,— браво выпалил я.— Я также не устаю восхищаться великолепием вашей последней книги, "A Writer's Note-Book"*.

Англичанин что-то пробурчал, и я был вынужден просить его (точно мне передалась глухота моей соотечественницы) повторить сказанное. Обращаясь к сеньоре, он заносчиво объявил: — Вы... вы меня с кем-то путаете. Я не писал никаких романов. Я — полковник в отставке.

* Произведеиия С. Моэма «Пироги и пиво» и «Записиая киижка писателя» (*англ.*).

Вместо ответа моя приятельница дала свое толкование: нам дурят голову. Мы были возмущены. Я сухо произнес положенные извинения, и мы ретировались.

— Надо же — полковник! — воскликнула сеньора.— И ведь придумают такое! Но меня не проведешь: недаром моя родословная восходит к Войне за независимость.

В отместку за нелепый разговор я выдвинул свои соображения: — Вы ошибаетесь. Нам вовсе не собирались дурить голову — как раз наоборот.

Утром следующего дня на шербурском рейде мы смотрели с палубы, как пассажиры перебираются на буксирное судно, которое должно доставить их к берегу. Указывая вниз, на ближайший от нашего корабля борт буксира, сеньора проговорила: — Вот он.

Указывая на противоположный борт, я возразил: — Нет. Он там.— Он и там, и здесь,— сокрушенно признала сеньора.

И действительно, из воды словно возник непостижимый мираж и мы увидели на буксире Сомерсета Моэма, если можно так выразиться, в двух экземплярах.

— Они одинаковые,— воскликнул я в замешательстве.

— Одеты по-разному,— поправила сеньора.

Тем временем взгляд Греве был устремлен в пустоту, как у беспристрастного судьи, на решение которого не могут повлиять никакие обстоятельства и симпатии. Его молчание затянулось, и я сказал: — Вот и все.

Он молчал еще какое-то время.

— Ты прав,— согласился он наконец.— Совершенно ненужное совпадение. Твоя история не проливает ни капли света на мой случай. Или же подтверждает, что бывают моменты, когда возможно все?!

Я не знал, что ответить.— Пожалуй,— промямлил я.

— Моменты эти,— продолжал он,— неповторимы, ибо тотчас уходят в прошлое. Но они реальны и образуют особый мир, недосягаемый для естественных законов.

Я прервал его рассуждения вопросом: — Ты сказал «твой случай»? — То, что случилось со мной. Пока я тебя слушал, у меня возникла надежда,— объяснил Греве.

— Я разочаровал тебя? Ты ждал разгадки какой-то тайны?

— Не знаю, чего я ждал. Может, никакой разгадки нет и остается лишь предположить, что это был один из тех редких моментов, о которых мы говорили. То, что случилось со мной, очень странно. И все же созвучно тому, что в душе ощущает каждый из нас,— некой глубокой убежденности. Абсурдной убежденности. Ты помнишь Кармен Сильвейру?

— Конечно помню, бедняжка. Она была полна жизни. Она казалась мне...

Я хотел сказать, что она казалась мне похожей на Луизу Брукс, актрису кинематографа, в которую я был влюблен подростком. Мысленно я увидел изящный овал прекрасного лица — и той, и другой женщины,— белую кожу, темные глаза и волосы, accroches-coeur* у висков.

— Казалась?..— переспросил он с каким-то трепетом.

— Не знаю; неудержимо юной и красивой.

— Я рад, что она тебе нравилась,— отозвался он и быстро добавил: — Скажу нечто кощунственное: она любила меня. Я тоже ее любил, но не сознавал этого. Какой я был глупец! В чем я никогда не сомневался, так это в том, что мне с ней не скучно. Ты знаешь, каковы женщины. Она постоянно находила, точнее — подыскивала возможность выбраться или съездить куда-нибудь, хотя при ее обстоятельствах не подобало, чтобы нас видели вместе.

— Вечные обстоятельства! У каждой женщины найдутся обстоятельства, требующие от нее осторожности. Скорее, даже риска.

Я резко засмеялся. Моя эпиграмма в прозе или что бы там ни было воодушевила меня, а Греве, очевидно, повергла в уныние.

— Откуда мне было знать,— сказал он.— Вероятно, я наивнее других. Я уверовал в обстоятельства Кармен и много раз отговаривал ее от всяких замыслов, но, бывало, повиновался ей. И не раскаиваюсь. Какой верой в жизнь

* кокетливые завитки (*франц.*).

обладала эта женщина! Где бы мы ни оказывались: в ресторане вечером, на лодочной прогулке по Паране, в гостинице на уик-энде — всюду мы предчувствовали, что нас ждут — как бы тебе сказать? — россыпи удовольствий, которые мы, разумеется, находили, всегда находили. Одной из наших вылазок была поездка в Мар-дель-Плата. Я тогда продал автомобиль. Мы отправились поездом, и в этом был свой риск: неизвестно, кто повстречается тебе в пути. Место напротив нас занимала молодая женщина,— позже выяснилось, что она зубной врач,— весьма разговорчивая. Кармен подбодрила меня вполголоса: — Выдержи характер. Не уступай. Минутная слабость — и не избежать пятичасовой светской беседы. Какая тоска!

Очень скоро Кармен пришла к убеждению, что в этом поезде единственная опасность сидит напротив нас.

— Это не опасность,— ответил я.— Немного тоскливо, только и всего. Мы же не знаем, что таят в себе другие вагоны.— Там никого нет,— заверила Кармен.

Она хотела сказать: никого из наших знакомых.

— В какой гостинице остановимся? — спросил я.

Я не успел забронировать номер. В тот же день за обедом мы решили ехать. Каждый отправился к себе домой укладывать чемодан, и в пять мы встретились на вокзале Конститусьон. В последнюю минуту Кармен вспомнила, что обещала выступить в субботу и в воскресенье на благотворительном вечере. Мы спешно бросились на поиски телефона. Кармен удалось поговорить и извиниться. Потом она рассказала: «Мне повезло. Я боялась, что придется иметь дело с председательшей, самой суровой и респектабельной старухой во всем Буэнос-Айресе, но к телефону подошла секретарша, очень милая женщина. Я сказала ей, что заболела и не встаю с постели. Угадай, что она ответила? Что старуха тоже заболела и не встает с постели. В общем, полный порядок!»

На мой вопрос о гостинице она ответила: — Что скажешь насчет «Провинсиаля»? — Ты с ума сошла,— запротестовал я.— Надо подыскать более укромное место.

Сейчас мне кажется, что это я был не в своем уме. Словно жалкий маньяк, я вечно сдерживал ее порывы во имя благоразумия. Думаю, что будь я теперь с нею... Хотя, возможно, все мы неисправимы.

— Какая тоска! — сказала она.— Ты, кажется, говорил о гостинице Леона с отоплением и хорошей кухней?

— Там все останавливаются.

— В такой холод кто же туда поедет?

Я промолчал, чувствуя себя в роли учителя, который отчитывает ученика; и еще я понимал, что любовь этой девушки — большая роскошь. Меня восхищает — уже тогда восхищала — ее выдержка.

Я бы отнес описанный разговор к первой половине пути; не спрашивай, что было дальше, но, скажем, на последнем отрезке наша попутчица набралась храбрости, чтобы рекомендовать нам отель «Кекен», где обычно останавливалась, и сообщить, что она специалист (просто специалист, будто одного слова было вполне достаточно). Чуть позже она, правда, уточнила: «Стоматолог», а затем последовали такие сцены, что и во сне не привидятся. Достаточно вспомнить, как дантистка добралась до наших ртов, точнее — забралась в них. Кармен выдержала экзамен с честью, а я если и не был обвинен в тяжких грехах, то сильно пристыжен. Мои умоляющие взгляды не возымели действия, и я в бешенстве воскликнул: — Попрошу без подробностей.

Я понял, что получил по заслугам, ведь женщина вступила в наш разговор намного раньше, чем я тебе сказал, да и не без моей помощи. Мужчины склонны к порочному малодушию — угождают посторонним в ущерб любимому человеку.

Выйдя из поезда, мы окунулись в сумрачную холодную ночь. В длинной очереди под открытым небом люди ждали такси. Мы стояли вместе с дантисткой, которая твердо вознамерилась отвезти нас в свой отель. Я сдался, готовый тащить за собой Кармен. Вдруг меня дернули за руку, и раздался приказ: — Идем.

Кармен тянула меня вперед, сквозь кромешную мглу мы выбежали на середину проспекта Луро, по которому мчались машины с зажженными фарами. Я и сейчас слышу приглушенный смех Кармен. Подняв руку, она подзывала таксомотор. Я горестно возразил: — Но ведь надо соблюдать очередь!

Шофер собирался проехать мимо — он тоже был сторонником конвенции об очередях, которая позволяла ему не замечать ближнего,— но, увидев Кармен, остановился. Да и как он мог не остановиться? Ты сам сказал: она была такая красивая и такая юная.

— Куда едем? — спросил я.

— В гостиницу твоего Леона,— ответила она и, когда я назвал шоферу адрес, заявила:— «Кекен Палас», да ни за какие деньги! Я еще не сошла с ума! Отель в Мардель-Плата, и еще с таким названием. Сразу ясно, что с претензиями. И чего они, собственно, хотят? Вызвать у приезжего желание убраться восвояси?

По правде говоря, я, как последний идиот, совершенно пал духом. Я не преувеличиваю: то обстоятельство, что администратор гостиницы мой знакомый, в *моем* положении раздражало меня... Знаешь, что подразумевалось под моим положением? Кажется невероятным. Кармен! Я считал себя обязанным что-то объяснять, оправдываться. А ведь надо было гордиться.

Не успели мы войти, как нас известили, что ужин не подают, поскольку меняют кухонные плиты, и что отопление сломалось. Искать другую гостиницу в такой час и холод не хотелось, и мы остались. В комнате поставили электрическую печку. Очень скоро мы поняли, что придется выбирать: либо немного отодвинуться от печки и замерзнуть, либо сесть как можно ближе и изжариться. Мы попросили дополнительный комплект одеял и забрались в постель не раздеваясь. Чтобы утеплить голову, Кармен повязала чалму из полотенца. Поверь, ее красота ослепила меня.

На следующий день тускло светило солнце, и мы спустились к пляжу. Устроились за каким-то домиком на бре-

зенте и, достаточно согревшись, приятно провели утро. Мы смотрели на море, разговаривали о путешествиях и, помню, видели пожилую пару, которая шла вдоль берега, согнувшись от ветра и оставляя борозду на песке. Кармен сказала, что в межсезонье любой курорт поэтичен.

Под вечер мы пили чай в кондитерской на углу Сантьяго-дель-Эстеро и Сан-Мартин, которую со временем снесли. Всякий раз, как кто-нибудь толкал огромные стеклянные двери, чтобы войти или выйти, казалось, что в зал вплывает огромный айсберг. Измученные холодом, мы не сводили глаз с этих дверей, словно надеялись остановить людей магией взгляда.

— О господи! — прошептала Кармен.

В зал вошла матрона необъятных размеров, величественная, как могучий морской лев.

— Ну и чудовище,— заключил я.— Это она,— уточнила Кармен.

— Кто?

— Председательша. Собственной персоной.

— Может, она не заметит тебя.

Не успел я договорить, как сеньора впилась глазами в наш стол и остановилась. Минута ожидания показалась мне нескончаемой. Я увидел поднятый указательный палец. Вероятно, мое воображение склонно к мелодраме. Вероятно, я ждал, что карающий перст укажет на Кармен. Я оцепенел. Сеньора дважды поднесла палец к губам. Позднее Кармен говорила о том, что ей подмигнули,— здесь я ничего не могу утверждать или отрицать. Скажу только, что из-за величавой громады вынырнул старичок с покрасневшим носом и мокрыми усами, явно ко всему безучастный. Вполголоса Кармен спросила:

— Она дала мне знак молчать или я не в своем уме? — И с радостью добавила: — Так же, как я, она сказалась больной. Так же, как мы, приехала в Мар-дель-Плата.

— Разница в том,— заметил я,— что ее старичок простужен.

С этой минуты все переменилось. Неожиданная и без-

условно карикатурная сцена со встревоженной старухой, видимо, помогла мне избавиться от неуемной рассудительности и от омерзительного чувства постоянной неловкости. С этой минуты я целиком положился на нашу счастливую судьбу. Готов поклясться: к ночи холод ослаб. Во всяком случае, я лег в постель раздетый; когда не хватало тепла, я находил его у Кармен.

С тех пор пародировать жест старухи стало нашей шуткой. Когда с нами говорили или просили чего-то не рассказывать, мы дурачились, имитируя тот торжественно-нелепый знак. Известно, подобные проделки при частом повторении выглядят глупо. Нам шутка напоминала о лучших днях.

Человеческая память избирательна. Но если вести рассказ по порядку, оживают давно забытые воспоминания. Я помнил о том, что в час дня мы сели в поезд, но не о том, что Кармен просила меня отложить возвращение. Сейчас я представляю, как она лежит на кровати лицом вниз, головой зарылась в подушку. Я приподнял ей голову, чтобы поцеловать. Кармен не смеялась.

— Останемся,— серьезно проговорила она.

Она смотрела на меня с трепетом, словно боялась чего-то. Думаю, этот внезапный трепет вызвал во мне непреклонность. Я сказал: — Всем известно, что женщина состоит из периодов и циклов,— разве ее не сравнивают с луной? — но мужчина, который об этом помнит и объясняет приступ плача нервами или железáми, считается бесчувственным. Тот же, кто забывает об этом, пусть не восклицает, когда от него уходят: «И все же ты плакала обо мне!» В ответ он услышит, что это ему приснилось.— Противный,— шепнула Кармен с улыбкой.

— Уезжать все равно придется, так зачем разыгрывать трагедию? — Тогда,— сказала она,— останемся навсегда.

Вместо ответа, я собрал чемодан. Когда решение принято, я не допускаю изменений (и порой горжусь этим, как достоинством).

Несколько дней спустя, в Буэнос-Айресе, я вдруг обнаружил, что тоскую по нашему житью в Мар-дель-Плата и что

Кармен, оставаясь пылкой и нежной, уже не привязана ко мне всей душой. Она приходила в гости, мы гуляли и веселились, вспоминали жест старухи, все забавляло нас, однако — чего раньше никогда не бывало — мне постоянно хотелось спросить ее, не стала ли она любить меня меньше.

Весной друзья предложили мне съездить в Ушуаю. Огненная Земля всегда привлекала меня, и я не хотел упускать случая побывать там. Единственной помехой была Кармен. Ехать с компанией было для нее неудобно, а одного — отпустила бы она меня? Я избавил себя от сложностей: уехал не простившись.

С юга я вернулся под вечер и застал на пороге дома двух мужчин. Любопытно, но эти люди всегда будут для меня безликими, без роста и каких-либо примет — они стерлись в памяти, остались лишь немногие слова и ужасное потрясение. Мне назойливо твердили о служащей, которая непонятным образом уклонилась от какого-то там опознания, я же мечтал о горячей ванне и минуте покоя.

— Какое мне дело? — возмутился я.

Они настаивали на своих объяснениях, и, превозмогая усталость, я разобрал, что речь идет о несчастном случае, услышал слово «погибшая», а затем еще два (произнесенные бесстрастным голосом, который, не прерываясь, монотонно продолжил фразу): Кармен Сильвейра. Служащая, когда ее попросили следовать за ними в морг, заперлась в комнате. О какой служащей они толковали? О служанке, которая по утрам приходила убирать квартиру покойной. Они предложили мне опознать труп. Да простит меня бог — в моей скорби я ощутил некую гордость.

— Я видел тебя в ночь бдения,— сказал я.

Луис Греве ответил: — Я почти ничего не помню.

— Наверное, это был тяжелый удар,— посочувствовал я.— Кармен всегда такая красивая. И вдруг видеть ее мертвой...

— Обескураживало? Я собирался это сказать, но теперь понимаю: можно точнее выразить то, что я чувствовал тогда и чувствую до сих пор. Увидев ее мертвой, я был обескура-

жен, но куда меньше, чем при мысли, что уже никогда ее не увижу. Самое невероятное в смерти то, что люди исчезают.

— Смерть иного человека кажется невероятной,— согласился я.— Тут легко поддаться суевериям и чувству вины. То, что случилось с тобой, ужасно, но тебе не в чем себя упрекнуть.

— Я не уверен,— ответил он.— Что тебе еще сказать? Жизнь моя мало изменилась. Не думай, будто я не тосковал о Кармен; днем она вспоминалась мне, ночью — снилась; но прошлое остается позади. Я полюбил деревню. Стал чаще ездить в Принглес, дольше бывать там. Однажды по пути туда в вагоне-ресторане я познакомился с господином, который рассказал мне о прелестях заграницы и уговорил меня отправиться в кругосветное путешествие. Поскольку господин был владельцем туристического агентства, я без труда достал билет. После смерти Кармен ничто не привязывает меня к одному месту. Как-то вечером, пролетая над морем, я понял свою ошибку. Мир удивителен, но я смотрел на него без всякой охоты. Не предполагай во мне безутешную печаль — это было лишь безразличие. Чтобы жаждать странствий, туристу надо иметь хотя бы иллюзии. Я не стал задерживаться на последних этапах. Чтобы не оставаться по два-три дня в одном городе, продолжал путь первым же самолетом. По нескольку раз в день приходилось переводить стрелки часов вперед или назад: эта разница в часах и усталость породили во мне чувство нереальности всего окружающего, нереальности времени и меня самого. Я прилетел из Бомбея в Орли. Просидев какое-то время на аэродроме, я отправился обратно в Буэнос-Айрес. Мы сделали остановку в Дакаре, кажется, на рассвете. Очнувшись от дремоты, я чувствовал недомогание и разбитость. Знаю, что там, а может позднее, мы перевели часы назад. Нас пригласили выйти из самолета. Минуя деревянные загородки, похожие на длинные загоны для скота, мы прошли в бар, где прислуживали негры. Войдя туда, услышали голос, объявлявший рейс на Кейптаун, и поравнялись с людьми, которые выходили к самолету через соседний с нашим загон.

Рассеянно я заметил во встречном потоке водоворот — казалось, кто-то пытается спрятаться в толпе. От нечего делать я посмотрел туда. Поняв, что ее обнаружили, она решила кивнуть мне. Я мог спутать кого угодно, но только не ее. Я глядел на нее в недоумении. Дважды подняв указательный палец в подражание нашей старой знакомой из далекого уик-энда в Мар-дель-Плата, она знаком попросила меня хранить тайну. Я растерялся. Кармен проследовала со своей группой к самолету на Кейптаун, а я остался.

Напрямик

Через несколько часов езды по бесконечной однообразной дороге старая сеньора, с годами обессилевшая, но столь же властная, как в лучшие свои времена, сказала шоферу: «Езжайте полем напрямик, сократим путь».

Дж. Мессина. Из шоферской кабины.

В этот июньский полдень, выходя из дома, Гусман отчетливо ощутил тревогу: вот уже год, как легкое, преходящее волнение охватывает его всякий раз, когда он собирается в дорогу. Просто привычка, подумал он, въевшаяся в душу привычка, прямо сказать, не слишком удобная для человека его профессии: Гусман был коммивояжером. Подумал он еще, что должно же тут крыться какое-то объяснение, и в голове у него промелькнула мысль о жене и даже об итальянских предках жены. А она как раз шла за ним по пятам и тянула надоевшую канитель неизменных наставлений: — Не гони машину. Не отвлекайся. Будь осторожен, как бы не столкнуться.

Гусман закрыл глаза и, пытаясь защититься и успокоиться, представил себе жену такой, какой, несомненно, видели ее все: цветущая, чуть склонная к полноте блондинка; о ее юной свежести можно судить не только по коже, но и по

вызывающе растрепанным пышным волосам, по крепкому, налитому телу. А Баттилана, знаток в этом деле, еще говорит, что молодая женщина — беззаботная тварь! И он спросил себя, что лучше, беззаботная женщина, которая, возможно, дает мужу волю, или такая, как эта, которая никогда не оставляет его в покое. Но раз уж досталась ему его Карлота, сжимавшая его сейчас в объятиях так, будто им предстоит разлука навеки, он отложил решение этой задачи до другого случая. Наконец он вырвался из ее рук и повернулся к «гудзону». Для каждого путешественника (да еще имея в виду почки и люмбаго) автомобиль рано или поздно превращается в орудие пытки; но не единым опытом живет человек: некоторый вес имеют и мнение ближнего, и мечты молодости. Обманутый собственной преувеличенной оценкой своего «гудзона»-8, модели 1935 года, чьи достоинства были, конечно, несомненны, но ограниченны, как у каждого автомобиля, он оглядел его с гордым удовлетворением, хотя и не обольщался этим слишком хорошо ему знакомым трогательным видом заботливо ухоженной старой колымаги. Удовлетворение, впрочем, было вполне обоснованно, ибо «гудзон» выполнял два обязательных условия, необходимых для счастья: увозил его из дома и возвращал обратно. Сказав себе: «Каждый имеет право на свои причуды», он подумал, что, войдя в пору зрелости, научился ловко привирать. Раз уж жена волнуется, когда он проводит ночь в дороге, он решил ее успокоить: — Сейчас двину прямо в Рауч.

Гусман, который обычно развозил благородные продукты фирмы Лансеро по шоссе номер 2 до самого Долореса и по прибрежной дороге до Саладо, на этот раз, исполняя просьбу сеньора управляющего, должен был заменить уехавшего на отдых коллегу и отправиться по шоссе номер 3 до Лас-Флорес-и-Качари, свернуть к Раучу и по дороге на Аякучо, миновав речку Эль-Пердидо, добраться до одного из главных клиентов в окру́ге, недовольного тем, что ему, как правило, доставляли прокисший айвовый мармелад, раскрошившиеся листья мате и вермишель с жучком. Он сел

в машину, разогрел мотор, бодро помахал рукой, испещренной черными волосками, и, не устояв перед стремлением подтвердить ложь, которое по большей части разоблачает ее, крикнул: — В Рауч! — Как в Рауч? — спросила Карлота.— А разве ты не захватишь раньше Баттилану? Ты что, не едешь с Баттиланой?

Он сразу спохватился: — Совсем из головы вон. Вот они, твои наставления, только память отшибают.

Забыл он о другом. Совершенно не помнил, что говорил жене о спутнике; но лучше не разбираться, о чем говорилось, о чем нет, дело темное, чуть что не так, и можно попасться.

— А я, по правде сказать,— призналась Карлота, думая о своем и уходя от разговора, грозившего вытащить на свет божий все обманы,— сама не знаю, когда я больше беспокоюсь... Если ты едешь один — случись что-нибудь, и помочь некому; а если вдвоем — разболтаешься, отвлечешься, тут-то беда и придет.

Гусман смотрел на нее, не слушая. Так и увез с собой воспоминания об этом юном лице, на диво не отражавшем ни ее страхов, ни забот.

Предавшись неуемной игре воображения, он подумал, что полети Карлота, как птичка, вслед за ним от их дома на улице Чекабуко, 700, до ресторана близ площади Конституции, она бы вернулась домой вполне довольная и одураченная. В самом деле, он оставил машину перед домом Баттиланы на улице генерала Орноса, по которой мог пóтом поехать прямо в Рауч. Чтобы украсить жизнь хотя бы скромными победами, умный человек не станет ждать удачи, а сам сделает ловкий ход.

В ресторане, просторном, как портовый склад, «парни» сидели в ожидании за столом. Их было восемь — по большей части однокашники, все люди зрелые, усталые, седовласые. «Новичками», которых ввели «старики», числились Баттилана — его подопечный и Нарди — знакомый Фондевилье. Когда-то их было пятнадцать, теперь стало меньше из-за смертей, болезней и других бед. Каждый не раздумывая

усаживался на свое привычное место, и только старый Кориа, по прозвищу Непоседа, не обращая внимания на других, занимал любой чужой стул.

Общий спор шел о выгодах и невыгодах завтрака по сравнению с ужином, а кое-кто пытался объяснить Баттилане существо дела и перетащить его на свою сторону.

— Ну сами скажите,— спросил Фондевилье, подмигнув глазом,— куда я гожусь в конторе после этого пира?

— А мне скажите, куда годятся старики, которые поздно ложатся?

— А они вообще никуда не годятся,— ответил Баттилана.

Бельверде объяснил: — Мы собираемся каждый четверг.

Другой, желая как-то определить их кружок, добавил: мы, «парни».

— От парней в нас осталось одно название,— признал Сауро.— И, что еще печальнее, дух,— подхватил Гусман.— Высокий дух,— торжественно произнес Баттилана и, подумав, добавил: — Напоминаете вы мне старичков, что собираются на площадях.

Гусман поколебался между желанием возразить и стаканом вина. Решил в пользу вина, потом нервно отщипнул кусочек хлеба.

— Не так давно,— рассказывал Сауро, обращаясь к Баттилане,— мы собирались под вечер в кафе, там квартет играл танго лучше некуда, к восьми переходили в ресторан, кухня тут знатная, а заканчивали вечер... сам догадайся?

— Мучаясь животом после помидорной подливки,— не задумываясь, ответил Баттилана.

В этот самый момент официант, не желавший терять время даром, с извинением, похожим на упрек, раздвинул их головы и поставил на стол блюдо с равиолями*.

— Нет, сеньор. В illo tempore** пили мы свой вермут в баре и играли в карты, но теперь, дело стариковское, предпочитаем судачить и дружно согласились, что больше, чем вермут, нам подходит фисташковое мороженое.

* Род пельменей.
** те времена (*лат.*).

Вмешался Фондевилье: — Просто диву даешься, как нам всем нравится это мороженое. Идем в кафе на улице Сан Хуан, мороженое там свежее, народу всегда полно, и вы наедаетесь за стойкой вволю, зная, что тут уж вас не отравят.

— А вы знаете, сеньор, сколько жертв уносит из года в год отравление дурной пищей? — спросил Нарди.

Сразу воодушевившись, Кориа посоветовал: — Дайте сеньору Баттилане точный адрес кафе. Рекомендую его вам от всей души, если, конечно, вы такой же любитель мороженого, как мы.

Снова взял слово Сауро: — Говорят, будто фисташки (враки, скорее всего) поддерживают, надеюсь, вы понимаете меня, жизненную силу мужчины, так что все мы пошучиваем, пошучиваем, а каждый свою порцию мороженого съедает, кроме сеньора,— кивнул он на Кориа,— он у нас самый старенький, вот мы и следим, чтобы он заказывал целых две, ему-то фисташки позарез нужны.

Фондевилье подмигнул и, показывая на Баттилану, сказал с восхищением: — Вот уж кому нет нужды в фисташках.

Улыбнувшись, Баттилана скромно согласился: — Сказать откровенно, пока что — нет.

Гусман, не слишком склонный к рассуждениям, подумал, что лучших людей, чем в его время, на свете не было, а о нынешнем поколении и говорить не стоит. Кроме того, кое-кто заблуждается. Баттилана, например, у себя на Западной железной дороге блистал сильным и острым умом, а столкнулся с парнями и сразу померк. Он даже не уверен, не было ли ошибкой ввести его в их узкий кружок и, того хуже, рассказать о своей поездке. В самом деле, ссылаясь на желание как следует узнать всю округу, Баттилана получил в конторе разрешение и теперь, если не поможет чудо, они поедут вместе еще дальше Рауча, и туда и обратно, чему, в сущности, надо радоваться, ведь, случись в дороге какая-нибудь поломка или неприятность, полное одиночество не такое уж удовольствие.

Бельверде и Сауро, посмеиваясь, но каждый упрямо стоя на своем, завели неизбывный спор консерватора с радикалом.

— Смилуйтесь,— взмолился Баттилана.— Сдается, в Музее Ла-Платы осталось только два экземпляра этой вымершей породы: вы оба.

«А что, если я его брошу? — подумал Гусман.— Если притворюсь, будто в суматохе, прощаясь, позабыл о нем? Поездка пройдет совсем по-другому».

На десерт подали фисташковое мороженое, вот уж приятная неожиданность.

— Кто-нибудь заказал,— смекнул Сауро.

В ответ раздался приглушенный смешок Кориа.

— Это он, он,— закричали несколько человек, указывая на него пальцем.

Старику похлопали. Сауро велел официанту:

— Сеньору Кориа двойную порцию.

Взглянув на тарелку Баттиланы, Кориа заметил:

— А этот сам себя наградил. Оно ему хоть и не нужно, а видать, нравится.

— Молодой желудок ест за двоих,— рассудил Фондевилье.

Бельверде высказался беспристрастно:

— Разве такое мороженое на улице Сан Хуан? Не сравнить!

Прощались неторопливо, сбившись кучками, уже на улице. Гусман заметил, что Баттилана куда-то пропал, вот теперь можно и забыть о нем; когда пришло время расходиться, он, не видя своего спутника, направился к улице Орноса, правда, медленным шагом: гнев его поостыл. Вскоре он услыхал за спиной задыхающийся голос Баттиланы: — А я подумал, вы меня бросили, дон Гусман. Задержала меня у телефона одна зануда. Сами знаете этих женщин: сплошные советы и наставления. Вышел, а в ресторане ни души, но я догадался, где вас искать.

— Не говорите мне «дон»,— откликнулся Гусман и подумал, что у Баттиланы все при нем: берет, английская трубка, пестрый платок вокруг шеи, ворсистая куртка, на которую он обратил внимание еще в ресторане, светло-коричневые брюки, желтые туфли; бесстрастно взглянув на него,

он добавил: — Не вздумайте осуждать мой «гудзон», не то никуда не поедете.

— Ну нет, прежние машины...— одобрительно начал Баттилана.

Мотор «гудзона» ревел, как мощный самолет, наверное, потому, что прогорел глушитель. Гусман свернул по улице генерала Ириарте, миновал мост Пуэйрредон и, оставив справа хладобойню Ла-Негра, выехал на прямую дорогу. Когда Баттилана снял берет, Гусман, несмотря на холод, опустил боковое стекло, чтобы ветер развеял запах духов. «Дамский любимчик,— подумал он.— Ну и свиньи эти бабы». Его спутник дремал с бессмысленным выражением лица, переваривая сытный завтрак, и, словно отзываясь на каждую выбоину шоссе, то вздыхал, то посвистывал, то всхрапывал. Они долго ехали, пока пригород не остался позади; наконец-то кругом было поле. На столбах или изгородях после каждого большого пролета висели вывески с названиями остановок: «Весна», «Оковы», «Потеря», «Холмы», «Лига», «Бык». Гусман подумал: «Никогда еще все это не выглядело так уныло».

Баттилана вздрогнул от собственного храпа. Окончательно проснувшись, он сказал: — Извините, если я вел себя в ресторане по-хамски, но не выношу я эту среду.

— А что плохого в этой среде?

— Я не то чтобы очень разборчив, какое там! Но эта самодовольная тупость... Уверены, что живут в лучшем из миров.— А их много, этих миров? — презрительно спросил Гусман.

— Есть разные миры, разные Аргентины, разные времена, которые ждут нас в будущем; куда-нибудь скоро попадем.

Не в силах следовать за Баттиланой в столь глубоких размышлениях, Гусман предпочел тему попроще: — Знайте, есть и у нас стоящие люди.

— Не спорю. Это здорово, когда собираются все вместе. Сказать, почему я не выношу их? Они живой портрет Республики. Для них образец — правительство. Хоть помирай со скуки.

— Демократия. А вам, как не помню уж какому деятелю, нужен инка?

— Нет, историю назад не повернешь. Необходим большой скачок, крутой поворот. Хватит с нас правительства болтунов и бездельников.

— Вас вышлют.

— А я не боюсь. Вручите бразды правления политикам и специалистам других воззрений, измените общественные структуры, и появится надежда на будущее. Отдаете себе отчет?

По-прежнему не очень разбираясь в словах Баттиланы, Гусман изрек: — Жизнь — сложная штука.

Поразмыслив, он пришел к удивительному заключению: он счастливчик. Он либо разъезжает, а это почти отдых, либо ходит с женой на Западную железную дорогу, в клуб прежнего их района, либо остается дома, с хорошей книгой, у телевизора. Друзей хоть отбавляй: парни, товарищи по клубу — среди них и Баттилана,— знакомые в новом районе, люди, еще не пустившие корней, с которыми, правда, иной раз не очень ладишь.

— С вашего разрешения,— сказал Баттилана и включил радио. Раздались звуки самбы Варгаса. Какой-то грузовик не давал им проехать; когда они наконец его обогнали, на них едва не налетел автобус. Гусман разразился бранью, которую шофер не услышал, он был уже далеко. Баттилана примирительно вступился: — Поставьте себя на их место. Трудяги, устают. — А я, по-вашему, кто? — взъелся Гусман.

В Монте они потеряли больше четверти часа у заправочной колонки. Некому было их обслужить. Увидев, как Баттилана зашел в домик, Гусман решил, что тот ищет заправщика; но он, оказывается, хотел умыться. Наконец какой-то старик, не расставаясь с портативным приемником, который передавал не слишком интересный футбольный матч, заполнил бак; не потрудившись даже завинтить пробку, он ушел дослушивать свой футбол.

Было уже поздно, Гусман отложил на обратный путь посещение двух или трех клиентов из Лас-Флореса. Они оста-

вили позади оливковые рощи Ла-Колорады (ныне доктора Доминго Аростеги), знаменитый Пардо, затем Мирамонте и не доезжая Качари свернули по проселочной дороге на восток. Баттилана закашлялся и робко проговорил: — Пыль, знаете, залетает. — К счастью, не так, как в новых машинах, — кашляя, ответил Гусман.

Проехав около сотни лиг, они миновали мост через речушку Лос-Уэсос, прокатили мимо сельского магазина, что на углу, и уже перед самым Раучем, за полем с торговыми и ярмарочными балаганами, на малой скорости пересекли пути заброшенной железнодорожной ветки.

— Здорово же вы знаете свой маршрут, — заметил Баттилана.

Принимая с тайным удовлетворением похвалу, которую считал заслуженной, Гусман как раз подумывал, не сбился ли он с дороги. Путь через город был надежнее, но более длинным; чтобы выиграть время, он предпочел обогнуть загородные дома; в крайнем случае, он лишь рисковал потерять выигранные минуты. Однако уже должна быть видна станция железной дороги. Когда он готов был признаться в своих сомнениях, показалась станция. Они оставили ее слева. Гусман подумал: «Метров через триста пересеку главную железнодорожную ветку». Триста метров непонятным образом растягивались. По его расчетам, они проехали больше километра. Он хотел было спросить у попавшегося навстречу человека в повозке: «Правильно я тут еду?», но покатил дальше, не желая терять в глазах Баттиланы свою репутацию знатока дорог. «Что за дичь», — подумал Гусман. Пересекая долгожданные пути, он мысленно пришел к нелепому выводу: «Сегодня я вроде бы все нахожу на месте, но что-то происходит с расстояниями. Они не такие, как всегда. То сокращаются, то растягиваются».

Оба спутника дружно высказались о дороге, уводящей их от Рауча: неровная, вся в выбоинах и лужах. Прошел короткий дождь. К концу дня свет начал меняться, все казалось окрашенным необыкновенно резко — и зеленые луга, и черные коровы. Небо внезапно потемнело.

— Что-то плохо видно,— признался Гусман.— Как бы не пропустить указатель со стрелкой на дорогу в Удакиолу. Она должна остаться слева. А потом, подъезжая к Аякучо, за речкой Эль-Пердидо увидим бакалейную лавку «Ла Кампана» напротив школы.

Хотя они ехали довольно долго, указателя все не было. Вдали прокатился гром, и сразу же на машину сплошной стеной обрушился ливень. Гусман прикинул и отверг возможность прервать путь, вернуться назад. Дорогу развезло, он ехал медленно, на низкой передаче.

— Ох уж эти ливни нашей родины,— сказал он и подумал, как отразится на его славе бывалого путешественника предложение (он его, конечно, сделает безразличным тоном) вернуться в Рауч; смелости ему не хватило; он продолжал вести машину, но наконец, в надежде вызвать у товарища соответствующий отклик, решился сказать: — Ну и ливень! — Пройдет,— ответил Баттилана.

Гусман бросил на него быстрый взгляд, увидел мельком, как он сидит с открытым ртом, тупо уставясь в серо-белую муть мокрого стекла, и подумал: «Забился в свою бесчувственность, как улитка в раковину», и чуть не повторил слова одного земляка, которые как-то вспомнил его коллега в отеле «Ригамонти» в Лас-Флоресе: «Пройдет... через год». А Баттилана словно назло повторял: — Пройдет. Такой ливень не затягивается.— Не затягивается,— рассеянно согласился Гусман, в глубине души ругая спутника на все корки.— А вы откуда знаете?

Дождь лил неторопливо, как видно зарядив на всю ночь. Свет снова изменился: поле озарилось, и каждая мелочь проступила отчетливо и ясно, словно предвещая путникам какую-то неведомую беду. Гусман сказал, словно про себя: — Последний дневной свет.— И не поймешь, откуда он. Сдается, исходит от земли,— подхватил Баттилана с некоторым беспокойством.— Видите, как этот свет все меняет. Поле сейчас не такое, как было.— Некогда мне смотреть по сторонам,— огрызнулся Гусман,— глина скользкая, как мыло, зазеваешься и угодишь в кювет.

Навстречу им прямо по середине дороги мчался грузовик с солдатами, и, чтобы разминуться с ним, не перевернувшись, Гусману пришлось пустить в ход всю свою ловкость.

— Заметили номер? — спросил Баттилана.— Посмотрите, обернитесь и посмотрите. Откуда только такой номер?

— На кой мне номер? Есть же такие люди. Только им и дела, что номер встречной машины. Кому рассказать — не поверят. На волосок от нее проскочили, и то потому лишь, что я правлю как бог, а теперь я еще должен оборачиваться и смотреть номер.— Он даже повысил голос и негодуя спросил: — Знаете, что я думаю? Лучше, пока еще светло, повернуть и пуститься обратно в Рауч.— Вам так кажется? — спросил Баттилана.

— Вы что, герой или дурачок? Решайтесь. Фары «гудзона» едва светят; этот ливень, который, по-вашему, пройдет, по-моему, будет лить до утра; дорога как намыленная деревяшка. Не стану я ни за что ни про что гробить машину. Смотрите, тут дорога пошире. Можно развернуться.

Разворот был сделан безупречно, но едва он взял курс на Рауч, как машина начала пугающе сползать в кювет.

— Вот что, вылезайте; я дам газ, вы подтолкнете, а я вырулю,— приказал Гусман.— Тут только вовремя толкануть, и мы ее вытащим.

Баттилана выскочил прямо под дождь. Гусман хотел было подать ему берет, который лежал на заднем сиденье; но поскольку тот не заметил ни его движения, ни, очевидно, воды, хлеставшей ему в лицо, Гусман подумал: «Пускай себе мокнет. В конце концов сам виноват, нечего было упираться. Плохо, что потом будет мокрой псиной пахнуть. Не прими я его тогда во внимание, мы бы сейчас сидели в гостинице в Рауче, как важные господа, и прислуживала бы нам сама дочка хозяина. Бьюсь об заклад, этот козел обольстил бы ее».

— Готово? — спросил он.— Готово,— сказал Баттилана.

Гусман включил первую скорость и чуть-чуть прибавил газу. Машина потащила за собой Баттилану (толкнув ее, он упал на колени в самую грязь), но вместо того, чтобы

выбраться по насыпи на дорогу, продолжала скользить по кромке, с трудом сохраняя равновесие. Гусман притормозил.

— Для такого дела,— холодно заявил он,— вы не помощник. Даже помеха.— Потом, взглянув на колеса и на следы от них, добавил: — Дальше не поеду, не то совсем сползу вниз. Где бы тут попросить помощи?

Справа, недалеко от дороги, они увидели какую-то хибару, вероятно, дорожный пост.

— Пойду попрошу помочь? — спросил Баттилана.

Гусман подумал: «Как подтянул его, сразу смирным стал».

— Пойдем вместе,— сказал он.

Чтобы не угодить в лужу, приходилось все время смотреть под ноги. Когда они подняли глаза, перед ними стоял большой квадратный белый дом.

Звонка не было. Гусман застучал в дверь кулаком и крикнул: — Слава деве Марии!

— Мы не в театре, дон Гусман.

— Мы в чистом поле, дон Баттилана. Что я, по-вашему, должен делать? Ругаться? Я на вас полагаюсь, а вы с глупостями пристаете. Взгляните-ка на эту башню.

Башня стояла справа, бетонная, очень высокая, как бы увенчанная площадкой, на которой виднелись люди, вероятно, часовые. Сверху падал луч вращающегося прожектора.

— Клянусь вам,— начал Баттилана,— клянусь...

Дверь приоткрылась, и он сразу замолчал. Выглянула молодая женщина, белокурая, с высокой грудью, одетая в какую-то оливково-зеленую форму, без сомнения, военную (гимнастерка с высоким воротом, юбка). Суровая, невозмутимая, она смотрела на них холодными голубыми глазами.

— Причина? — спросила она.— Причина? — с изумлением переспросил Гусман; потом оживился и, смеясь, заявил: — Вот этот сеньор во всем виноват...

Баттилана перебил его, явно желая взять объяснения на себя.

— Прошу прощения, сеньорита,— он слегка поклонил-

ся,— мы побеспокоили вас, потому что влипли с машиной. Если бы вы дали нам на время лошадь, мы бы запрягли ее в свою колымагу и в два счета...

— Лошадь? — спросила женщина с таким изумлением, как будто речь шла о чем-то неслыханном.— Ну-ка, ваши пропуска.

— Пропуска? — проговорил Гусман.

Баттилана объяснил:— Сеньорита, мы пришли просить о помощи. Не можете — дело другое.

— Есть у вас пропуска или нет? Заходите, заходите.

Они вошли в коридор с серыми стенами. Женщина заперла дверь, дважды щелкнув замком, и оставила связку ключей при себе. Они переглянулись, ничего не понимая. Баттилана жалобно взмолился:— Но, сеньорита, мы не хотим вас задерживать. Если вы не можете дать нам лошадь, мы уйдем.

Без всякого выражения, несколько устало женщина произнесла: — Документы.

— Не хотим вас задерживать,— любезно повторил Баттилана,— мы уходим.

Не повышая голоса (сначала они даже подумали, что она обращается к ним), женщина позвала: — Капрал, доставьте этих двоих к полковнику.

Сразу появился капрал в форме, подпоясанной красным кушаком, схватил их за руки выше локтя и быстро повел по коридору. Пока он тащил их, Гусман, не без труда стараясь сохранить достойную осанку, спрашивал: «Что все это значит?», а Баттилана хвалился высокопоставленными друзьями, которые строго взыщут с виновных в ошибке, конечно невольной, и совал свое удостоверение личности женщине, которая уже уходила, и капралу, который его не слушал. Капрал ввел их в комнатку, где какая-то девушка, сидя к ним спиной, приводила в порядок картотеку; оставив их тут, капрал предупредил: — Ни с места.

Он приоткрыл дверь и, просунув голову в смежную комнату, доложил: — Я доставил двоих, полковник.

В ответ раздалось одно-единственное слово: — Камера.

Баттилана возмутился.

— Э, нет. Пусть меня выслушают,— почти закричал он.— Я уверен, сеньор полковник войдет в наше положение!

— Куда? — рявкнул капрал и толкнул Баттилану так, что тот пошатнулся.

Гусман подумал, стоит ли сейчас противиться. Капрал снова схватил их за руки, на этот раз еще крепче, и повел. Выходя из комнаты, Гусман заметил взгляд, брошенный Баттиланой на женщину, разбиравшую картотеку, и с восхищением подумал: «Ну, этот своего не упустит». Когда он тоже посмотрел на нее, девушка обернулась и оказалась одной из тех отвратительных старух, что со спины кажутся молодыми.

Камерой была ярко освещенная комнатушка с побеленными стенами; у одной из них стояла койка.

— Хорошо еще нас оставили вместе,— заметил Гусман.

Неожиданная сердечность этих слов или жестокая нелепость всего, что сейчас произошло, победила упрямое сопротивление Баттиланы.

— Куда мы попали, дон Гусман? — спросил он, чуть не плача.— Я хочу вернуться домой, к Эльвире и девчушкам.

— Скоро вернемся.

— Вы думаете? Сказать вам правду? Мне кажется, мы останемся тут навеки.

— Бросьте вы.

— Сказать вам правду? Я веду себя с женой подло. Жена любит меня, она сияет от радости, стоит только мне появиться, а я, скотина, путаюсь с другими. Скажите сами, дон Гусман, хорошо это? А главное, когда дома есть жена, которая ни в чем никому не уступит. Но объясните, куда мы попали? Что тут? Я ничего не понимаю, но сказать вам правду? Не нравится мне это. Признаться вам? Так не похоже на мой город, на Буэнос-Айрес, как будто он остался очень далеко. Очень далеко и в другом времени. Так жутко, словно кто-то сказал: не вернетесь. Знаете, девчушкам, одной — семь, другой — восемь лет, я помогаю им готовить уроки, играю с ними и каждый вечер целую их в кроватках,

когда они ложатся спать.

— Хватит,— приказал Гусман.— Мужчины нюни не распускают. Хуже этого нет. Чего вы добиваетесь? Хотите, чтобы я расчувствовался и не смог защищаться? Вернее, защищать нас обоих, ведь вы в таком виде никуда не годитесь.

— Супруга...

— Да ладно вам с супругой.

— Я хочу говорить о супруге. Поймите, не о моей, Гусман, о вашей. Тут не все чисто.

— А до моей вам какое дело?

— Не знаю, куда это мы попали. Угораздило же нас попасть сюда. А все я виноват, не сумел как следует подтолкнуть машину. Прошу вас, не надо на меня сердиться. Я и сам не простил бы вам такое. Я злопамятный. Не нравится мне все это. Что теперь с нами будет? Я хотел бы облегчить душу. Ведь я встречаюсь с Карлотой.

Открылась дверь, и капрал приказал: — Выходите.

Они повиновались. Гусман заметил, что слова Баттиланы ничуть его не задели. Он подумал: «Как будто он ничего и не сказал. Однако это не пустяки... Уж не ослышался ли я?» Когда же он мысленно произнес: «Быть этого не может», в глазах у него потемнело и пришлось прислониться к дверному косяку. Капрал быстро повел их по коридору. Они вошли в большую комнату, напомнившую ему школьный класс. За столом сидели военный и та женщина, которая их сюда впустила; на стене, над головами этих двоих, висел портрет какого-то человека с бородой. Военный, довольно молодой, бледный, с тонкими губами, смотрел на них враждебно и вызывающе. Пожалуй, самым неприятным было для него имя Карлоты в устах Баттиланы. Эти люди за столом напоминали ему не то экзамен в школе, не то суд. На минуту Гусман позабыл о словах Баттиланы, оборвал свои мысли и предположения: он полностью включился в то, что происходило с ним сейчас.

Капрал подвел их к табуреткам, стоявшим в глубине комнаты у стены, довольно далеко от стола. Военный и жен-

щина тихо переговаривались; женщина рассеянно перебирала рукой связку ключей. Ожидание затянулось, и Гусман опять вернулся к своим мыслям. Вдруг он оторвался от целиком поглотившего его опасного раздумья: ему почудилось, будто женщина с какой-то особой настойчивостью смотрит на Баттилану. А тот тоже смотрел на нее широко открытыми глазами, и взгляд у него был цепкий, словно щупальца. Пораженный своим открытием, Гусман снова позабыл обо всем остальном и подумал: «Да он ест ее глазами, а она отвечает ему. Вот это обольститель! Обольститель высшей марки». Военный что-то шепнул женщине. Женщина подозвала капрала. Они увидели, как тот прошел к столу, получил приказ, вернулся к ним.

— Вы! Встаньте перед судом,— сказал капрал Баттилане.

Дальше произошла мимическая сцена. Баттилана пересек комнату, предъявил удостоверение. Военный просмотрел его, швырнул на стол, выпрямился, вытянул вперед голову, поднял подбородок и замер в угрожающей и несомненно неудобной для него позе. Женщина взяла и просмотрела удостоверение, взглянула на Баттилану, тряхнула головой. Тут к мимике присоединились голоса (правда, едва слышные). Баттилана возмутился, потребовал объяснений. Военный пренебрежительно перебил его, женщина о чем-то спросила. Как Гусман ни напрягал слух, он едва разбирал отдельные слова: проезжий, железная дорога, Лансеро, компаньон. Баттилана вернулся на место, явно растерянный. Гусман подумал: «Сейчас возьмутся за меня». Хотел было спросить у Баттиланы, каково ему пришлось, но вспомнил о Карлоте и не захотел с ним разговаривать.

— Вы! — приказал ему капрал.

Наверное, из-за того, что судьи смотрели на него, расстояние до стола показалось ему бесконечным. С ним не поздоровались, и он тоже не стал здороваться.

— Место жительства? — спросила женщина.

После минутного замешательства он ответил: — Буэнос-Айрес.

— Вид на жительство?

Он смотрел, ничего не понимая. Женщина раздраженно повторила: — Отвечайте, есть у вас вид на жительство или нет? Другой какой-нибудь документ?

— Предупреждаю, надзирательница, я не расположен изучать еще одно удостоверение,— проворчал полковник.

— Еще бы, полковник. Знаете? — объяснила надзирательница.— Я сперва подумала, что он говорит о каких-то своих заверениях.— Я сбегаю к машине,— предложил Гусман, подумав, что нечего ему особенно распинаться перед ними.— В машине у меня военный билет.— Браво. Вы превзошли наши ожидания,— заявил полковник, и тут же проревел: — Лопнуть можно!

Женщина, вперив в Гусмана свой холодный взгляд, добавила: — Не так мы глупы. Без нашего согласия не ускользнет никто. Что вы задумали? — Я арестован? — возмутился Гусман.— Отвечайте, я арестован? — Что вы задумали? — повторила женщина.

— Провести ночь в гостинице «Испания», в Рауче,— ответил Гусман,— и если дорога подсохнет, посетить завтра одного клиента в Аякучо, за речкой Эль-Пердидо.

— Хватит,— повысив голос, приказал полковник.— Что они задумали, эти двое, надзирательница Каделаго? Запутать нас? Провоцировать нас?

Надзирательница посоветовала: — Не берите на себя слишком много, полковник. Они заботятся о своей шкуре.

— А я о своем терпении. Знаю, я снова впал в субъективизм, но все, даже наша добрая воля, имеет предел.

— Откровенно говоря, полковник,— возразила разгневанная надзирательница,— я этим двоим благодарна. Идет следствие, поймите, идет следствие. Если завтра кто-нибудь явится проверить наши действия...

Теперь возразил полковник: — Хорошенькое дело.

— А почему бы нет, полковник Крус? Кто может быть уверен в себе? Мое правило — прикрывать тылы. Если завтра кто-нибудь явится с наилучшим намерением нас угробить, мы оба будем прикрыты; отказ от сотрудничества не оставляет повода для толкований.

— Кара всегда одна.

— К тому я и веду. Прибавьте, что мы не тратим зря довольствие, не занимаем помещение, не обременяем персонал. А мертвецов кто заставит выступить против судей?

— Приговор,— сдался полковник.

Надзирательница подняла руку, разжав ее: на стол упала связка ключей.

Полковник приказал:

— На скамью!

Он сказал не «на табурет», а «на скамью». Подсудимых? Гусман вернулся на место, еле передвигая ноги. Сел и почувствовал, как придавила его усталость. Он постарался прийти в себя, понять свое положение, обдумать план защиты, даже бегства. Посмотрел на Баттилану: тот не выглядел ни усталым, ни пришибленным; он не сводил глаз с надзирательницы. А у Гусмана глаза слипались. Он решил, что, закрыв их, сможет все лучше обдумать, и вспомнил высокую белую колонну или, вернее, увидел темную улицу, разделенную надвое арками, в центре которой высилась эта колонна, увенчанная статуей. Какое-то таинственное внутреннее чувство влекло его к этому видению, тревога не унималась. Он узнал колонну: памятник Лавалье*. Когда же он был на площади Лавалье и какие воспоминания с ней связаны? В ответ он подумал: «Уже давно никаких». И тут же понял, что столь отчетливая картина явилась ему не в воспоминаниях, а во сне. Он стал внушать себе: «Никакой расслабленности. Каждая потерянная даром минута...» Мысль свою он не закончил, потому что увидел два высоких, хилых, бесцветных эвкалипта перед неровным рядом старых домов. «А это откуда взялось?» — спросил он себя в тоске, словно от ответа зависела его жизнь. И сразу опознал место. «Площадь Консепсьон, если смотреть с улицы Бернардо де Иригойена». Он понял, что новый сон на мгновение вернул его в Буэнос-Айрес, в свободную жизнь. Проснув-

* Лавалье Хуан (1797—1841) — аргентинский генерал, участник Войны за независимость испанских колоний 1810—1826 гг.

шись, он не сразу пришел в себя. Теперь перед глазами у него был кожаный ремень и зеленоватая форма. Он взглянул вверх. Полковник, улыбаясь, смотрел вниз.

— Вздремнули? Как ни в чем не бывало. Завидую вашей выдержке. Прошу вас, отнеситесь ко мне с доверием. Поговорим как мужчина с мужчиной.— Он придвинул второй табурет и сел. Гусман спросил: — А Баттилана?

— Его утащила в свою клетушку надзирательница. Вот ненасытная баба!

— Я так и подумал, увидев ее грудь под гимнастеркой.

— Но характер холодный, никакого снисхождения не будет, уж поверьте мне.

Гусман подумал: «А ведь сейчас я мог быть на месте Баттиланы, изображая фаворита королевы». Всегда он так, вот лодырь. Не дал себе труда поухаживать за надзирательницей.

— Сейчас я вам докажу мою искренность. Эта женщина способна на все. Фанатичка. Но сейчас, между нами говоря, вы не считаете, что несколько перехватили в своем притворстве?

— В притворстве?

— Да, перехватили. Это вызывает подозрения.

— Я устал,— отговорился Гусман.

— Отлично знаю: при вашей профессии следует все отрицать. Уважаю ваше поведение, хотя для меня оно равно признанию. Видите, надзирательница оставила ключи на столе?

Гусман заметил ключи. Спросил: — Чтобы я совершил попытку к бегству и меня расстреляли?

— А если не попытаетесь, мы что, помилуем вас? Ну, дружище! Слушайте меня внимательно: отвечаю откровенностью на ваше недоверие. Вот что я вам скажу: я удручен, затравлен. Будь я в вашем возрасте, бежал бы с вами куда глаза глядят. Но мне надо думать о будущем. Слишком я молод, чтобы пускаться в авантюры.

Гусман, уже не в силах совладать с нетерпением, спросил:

— Когда бежать? Сейчас?

— Надо дождаться ружейного залпа. Тогда можете быть

уверены, что надзирательница не появится. Ни одной казни не пропустит.

— Кого расстреливают?

— Когда услышите залп, в вашем распоряжении останется три-четыре минуты.

— Для бегства? Кого же расстреливают? — повторил он, наперед зная невероятный ответ.— Расстреливают Баттилану?

— Эта сука сначала им попользуется, а потом с величайшим хладнокровием уничтожит. Беднягу уже ничто не спасет. Но вы — просто ума не приложу, куда вам деваться, когда вы выйдете отсюда? В этих краях мне известны два типа людей. Фанатики, их меньшинство, которые выдадут вас полиции, и остальные, которые из страха повредить себе выдадут вас полиции.

Гусман язвительно заметил: — А полиция меня отпустит.

— Одного убивают, другого отпускают. Нужно ладить со всеми. С правительством и с революцией.

— Вы мне подаете надежду, чтобы схватить снова?

— Э, с вами не столкуешься. Но сами скажите, предоставится ли другой случай? Считайте, если хотите, что мы ни о чем не говорили, и поступайте по-своему. Оставляю вас. Желаю удачи.

Он еще ничего не придумал, когда раздался залп. Тут он вскочил, пробормотал: «Бедняга», прошел — шатаясь, спотыкаясь, озираясь на все двери — через эту бесконечную комнату. Остановился у стола и прислушался. Быстро схватил ключи. Сказал: «Только бы это не было ловушкой». Ему показалось, что голос его прозвучал слишком громко, и леденящая слабость сковала руки и ноги: страх. Он снова заколебался; как бы не ошибиться дверью. Вышел в серый коридор. Перед входной дверью с отчаянием вспомнил слова полковника: «В вашем распоряжении три-четыре минуты». Надо попробовать ключи; их было много, все они торчали в разные стороны, и он без конца перебирал связку, страшась снова вставить негодный ключ, вместо того чтобы испробовать новый. Прежде чем замок щелкнул, он

насчитал двенадцать ключей. Толкнул тяжелую дверь. Наверное, он ожидал дуновения холодного ветра в лицо, так как отметил, что ночь теплая. Он всматривался в темноту, тщетно пытаясь разглядеть свой «гудзон». Уж не угнали ли его? Подождал, пока луч прожектора с башни скользнул по дому, и сразу бросился бегом к дороге. Он прыгал через лужи, один раз упал (световой луч прошелся над ним, не задержавшись). С трудом пролез сквозь проволочную ограду. «Гудзон» должен быть где-то здесь. «Только бы не забуксовал,— подумал он,— в холодные ночи дорога подсыхает быстро». Он сел в машину, вытащил подсос. Подумал: «Только бы схватил двигатель». В первую минуту ему показалось, что мотор не заведется. «Замерз»,— пробормотал он. Мотор завелся, но оттого, что глушитель был не в порядке, раздался оглушительный рев. Гусман оглянулся на дом. Ему показалось, что там выключили свет, и в смятении он счел это «подозрительным». «Гудзон» побуксовал немного, зацепил за край твердого покрытия и вышел на дорогу. Гусман нажал на педаль газа. После первого мостика начались беспорядочные опасные провалы и выбоины. В предрассветный час было плохо видно даже при включенных фарах. Бегство на малой скорости выматывало нервы. Он включил радио; тут же выключил: надо прислушиваться, не преследуют ли его. В Рауч он не заехал. Понемногу увеличивал скорость; ему не терпелось добраться до асфальтового шоссе. Включил радио. Прослушал информационный выпуск. Сегодня вечером президент будет присутствовать на выпускном акте школы-мастерской в Ремедиос-Эскалада. Дурной вкус водопроводной воды в Большом Буэнос-Айресе — явление временное и не опасное для здоровья. Старик, погибший во время перестрелки между бойцами профсоюза и полицией, не имел никакого отношения к событиям. Гусман выключил радио и оглянулся: сквозь стекло он увидел пустынную белесую дорогу; на заднем сиденье — берет Баттиланы. Сказал про себя: «Все это кажется невероятным». Теперь перед его взором возникли совершенно явственно, со всеми естественными

красками и малейшими подробностями, Карлота (родинка, шрам на животе) и Баттилана, обнаженные, радостные, ласкавшие друг друга, не стесняясь своей наготы. Гусман передернулся, как от приступа боли, и закрыл глаза. «Гудзон» вильнул, едва не угодив в кювет. Как вернуться домой? А если не домой, то куда? Чем объяснить управляющему, что он не выполнил его поручения в Аякучо? Разве тем, что заболел в Лас-Флоресе. Он заедет в Лас-Флорес, встретится с клиентами, пожалуется, что здоровье — будь оно неладно — подкачало... Объяснение жалкое, но придется управляющему его принять; а уж он-то в Аякучо не вернется ни за какие блага на свете. Чтобы заехать в Лас-Флорес, придется собрать всю свою волю. Сейчас им владело одно-единственное желание: попасть домой. Сможет ли он вернуться домой? Вернуться к жизни с Карлотой? Он уверен: она и была той занудой, что задержала Баттилану у телефона. Едва добравшись до шоссе, он остановил машину. Достал берет Баттиланы, пропитанный запахом его волос. Пробормотал: «Ну и свинья Карлота». Швырнул берет за кусты чертополоха; постарался скрыть его. Берет все равно оставался на виду. «Еще найдут»,— подумал Гусман. Он не знал, куда же его спрятать. С отвращением — запах волос был тут, как живое существо — сунул берет в карман. Рука задела ключи надзирательницы. «Еще обыщут меня. Еще обвинят в смерти Баттиланы». Если его будут допрашивать, он скажет правду. Но кто поверит его правде? Кто поверит в происшествия этой ночи? В том, что Баттилана исчез, сомнений не будет, но его объяснения... Более правдоподобной будет прямая ложь: «Я уехал один». После завтрака с парнями он потерял Баттилану. С Карлотой поведет себя так, будто знать не знает о ее измене. Кто тогда сможет приписать ему злой умысел?.. Вероятно, он все предусмотрел, но — как знать — происходят такие странные дела. Карлота и жена Баттиланы решат, что тот отговорился поездкой, чтобы переспать с другой женщиной. Гусман спрашивал себя, до каких пор сможет он сдерживаться и скрывать обиду. И сам возразил себе, что ми-

нута счастья стоит любой беды. Другого урока ночь в Аякучо ему не дала. Что же до бедняги Баттиланы, то смерть его была так неправдоподобна, что он даже не знал, жалеть ли о нем.

О форме мира

Однажды вечером, в понедельник, в начале осени 1951 года, молодой Корреа, ныне известный многим под прозванием Географ, стоял на пристани в Тигре* и поджидал катер, которым должен был добраться до острова своего приятеля Меркадера — туда он удалился, чтобы готовиться к экзаменам за первый курс юридического. Конечно, остров этот был всего-навсего безымянным клочком суши, где в гуще кустов торчала хижина на деревянных сваях,— дикое место, затерянное посреди обширной дельты, в лабиринте проток и ивняка. «Сидя там один, в компании комаров,— предупреждал его Меркадер,— ты волей-неволей начнешь грызть науку. Когда пробьет твой час, ты обскачешь всех». Сам доктор Гусман, старый друг семьи, по ее поручению благосклонно следивший за первыми шагами молодого человека в столице, одобрил этот план и нашел, что такая краткая ссылка не только своевременна, но и необходима. И однако за три прошедших дня островитянин Корреа не прочел предусмотренного числа страниц. Суббота ушла у него на приготовление обеда — он жарил мясо на углях и потягивал мате,— а в воскресенье он поехал посмотреть игру «Экскурсантов» с «Ураганом», потому что, честно говоря, не испытывал ни малейшего желания раскрывать книги. Два первых вечера он садился с твердым намерением серьезно поработать, но его сразу же начинало клонить в сон. Эти вечера вспоминались ему как долгий ряд вечеров, и теперь его мучили угрызения совести и горечь от бесполез-

* Пригород Буэнос-Айреса.

ных усилий. В понедельник молодому человеку пришлось опять поехать в Буэнос-Айрес, чтобы отобедать с доктором Гусманом и сдержать слово, данное нескольким землякам, сходить вместе в театр «Майпо» на дневной спектакль. Стоя на берегу в ожидании катера, который почему-то запаздывал, он думал, что сейчас время уходит впустую не по его вине, но впредь надо не терять ни минуты, ибо день первого экзамена приближался.

Потом одна забота сменилась другой. «Как мне быть,— спрашивал он себя,— если лодочник не знает, где остров Меркадера? (Тот, кто вез его в воскресенье, знал.) Я совсем не уверен, что смогу его указать».

Люди на пристани разговорились. Держась в стороне, облокотившись о перила, Корреа смотрел на противоположный берег, на деревья, расплывчатые в темноте. Собственно говоря, и при ярком солнце этот пейзаж казался бы ему не менее туманным — Корреа был новым человеком в здешних краях, так не похожих на привычные; дельта напоминала ему Малайский архипелаг — места, о которых он столько мечтал на уроках в своем родном городке, уткнувшись в книгу Сальгари, обернутую в коричневую бумагу, чтобы святые отцы приняли ее за учебник. Начал накрапывать дождь, и молодому человеку пришлось укрыться под навесом, возле говорящих. Почти сразу же обнаружилось, что тут шел не один разговор, как он предполагал, а три — по меньшей мере три. Какая-то девушка, уцепившись за руку мужчины, жалобно повторяла: «Нет, тебе не понять моих чувств». Ответ мужчины заглушил звучный голос, говоривший: «Этот проект, который теперь кажется таким простым, был встречен в штыки по причине ошибочного представления о континентах». После некоторого молчания тот же голос — быть может, голос чилийца — продолжал радостным тоном, словно сообщая хорошую новость: «К счастью, Карл самым решительным образом поддержал Магеллана». Корреа хотел бы услышать, о чем говорят мужчина и девушка, но тут всплыл третий разговор — о контрабандистах; он перекрыл все остальные и напомнил молодому человеку

книгу о контрабандистах или пиратах, которую он так и не прочел, потому что на картинках были изображены люди из прошлых веков, в коротких штанах, камзолах и слишком свободных рубахах, и от одного взгляда на них ему становилось скучно. Корреа сказал себе, что как только доберется до острова, немедленно сядет за книги. Потом подумал, что очень устал, что не сможет сосредоточиться. Самым разумным было бы поставить будильник на три утра и немножко поспать — надо отдать должное, постель там была очень удобной,— а потом, на свежую голову, начать заниматься. Он с грустью представил себе звонок будильника, промозглый предрассветный час. «Впрочем, что я себя расхолаживаю,— подумал он.— На острове только и остается, что зубрить. Придя на экзамен, я обскачу всех».

Его спросили: — А вы что думаете?

— О чем?

— О контрабанде.

Сейчас нам кажется (но сейчас мы знаем, к чему это привело), что самым правильным было бы ответить ничего не значащими словами. Но спор увлек его, и, еще не подумав толком, он уже услышал собственный ответ: — На мой взгляд, контрабанда — не преступление.— Вот как? — отозвался его собеседник.— А позволительно спросить, что же это тогда? — На мой взгляд,— гнул свое Корреа,— это простое нарушение закона.— Меня занимает ваша точка зрения,— заявил высокий господин с седыми усами и в очках.— Учтите,— прокричал кто-то,— что это нарушение закона порой приводит к кровопролитию.— Жертвы бывают и на футболе,— запротестовал высоченный человек (его жесткие курчавые волосы на первый взгляд казались нахлобученным беретом).

— А футбол, насколько мне известно, не преступление,— сказал пожилой господин.— В футболе следует проводить различие между любителями и профессионалами. А в вопросах контрабанды — кем считает себя сеньор? Профессионалом, любителем или кем-то еще? Любопытно узнать.

— Я даже иду дальше,— упрямо продолжал Корреа.—

Для меня контрабанда — это неизбежное нарушение произвольно введенных правил. Введенных произвольно, как и все, что делает государство.

— Столь личные суждения,— заметил кто-то,— характеризуют сеньора как настоящего анархиста.

Столь личные суждения принадлежали на самом деле доктору Гусману. Выражая их, Корреа дословно повторил фразу Гусмана, даже с его интонацией.

Прилизанный толстячок, стоявший поодаль — «Наверняка врач,— решил Корреа,— зубной врач»,— одобрительно улыбался ему, словно присоединяясь к его словам. Никто из остальных больше с ним не говорил; но говорили о нем, и, пожалуй, с презрением.

Наконец прибыл катер. Корреа точно не знал, как он называется. «Виктория и что-то еще»,— рассказывал он. Во всяком случае, то было нечто вроде речного трамвая, совершавшего долгий путь по протокам дельты.

На борту, затолканный пассажирами, он случайно оказался рядом с толстячком; тот спросил его улыбаясь: — А вам приходилось когда-нибудь видеть контрабандиста?

— Насколько я знаю, нет.

Его собеседник расправил лацканы пиджака, выпятил грудь и заявил: — Один из них перед вами.

— Вот как?

— Именно так. Можете называть меня доктор Марсело.

— Вы зубной врач?

— Угадали: я стоматолог.

— И контрабандист в свободное время.

— Я уверен — в силу причин, блестяще изложенных вами,— что как таковой я никому не причиняю вреда. Никому, кроме торговцев и государственной казны, а это, поверьте, не слишком меня тревожит. Я зарабатываю кое-какие деньжата, почти столько же, сколько в своем кабинете, только иным способом, который кажется мне куда более занимательным, ибо граничит с риском, а это открывает новые стороны жизни для такого человека, как я. Или, ручаюсь, для такого человека, как вы.

— Вы знаете меня?

— Я сужу по наружности. Думаю, вы славный молодой человек, немного робкий, но хорошей закваски. Ваш брат провинциал лучше нас — конечно, кроме тех, кто хуже... Хотя сегодняшняя молодежь — chi lo sa?*

— Вы не доверяете молодым? Значит, если человек молод, он непременно повинен во всех грехах, замешан во всех неблаговидных делах, которые творятся вокруг?

— Нет, я так не думаю. Поэтому я и заговорил с вами без опаски.

— А теперь, быть может, раскаиваетесь. Быть может, подозреваете, что я выдам вас военным.

— Да что вы, вовсе нет. Просто я обратился к вам, словно к знакомому, а в сущности-то я вас не знаю.

Чтобы успокоить его, Корреа рассказал о себе. Он студент-юрист; готовится к экзаменам за первый курс; собирается прожить недели две на острове, принадлежащем его приятелю Меркадеру; в этих местах он недавно.

— Мне известно только, что после пристани под названием Энкарнасьон мне надо выходить. Боюсь, что не узнаю своего острова и проеду мимо. Если же я попаду, куда собираюсь, передо мной встанет мучительная альтернатива: заниматься или ложиться спать?

— Превосходно,— воскликнул толстячок, довольно потирая руки.— Видите, сами того не замечая, вы как нельзя лучше доказали мне свою искренность.

— Почему бы нет, если мне хочется спать? Я должен заниматься, но поверьте, у меня слипаются глаза.

— Вы должны заниматься? И вы уверены?

— Еще как уверен.

— Послушайте, я не спрашиваю вас, должны ли вы заниматься вообще. Я спрашиваю, хотите ли вы заниматься сегодня ночью.

Корреа подумал, что зубной врач неглуп.

— Если честно,— ответил он,— то нельзя сказать, чтобы сегодня мне этого безумно хотелось.

* Кто знает? (*итал.*).

— Тогда ложитесь спать. Лучше поспите. Или...

— Или что?

— Ничего, ничего, просто у меня мелькнула мысль, которую я еще не обмозговал.

Словно говоря сам с собой, Корреа проворчал:

— Тоже мне, начинает фразу...

— Поосторожнее в выражениях. Не забывайте, что перед вами не кто-нибудь, а человек с высшим образованием.

— Я не хотел вас обидеть.

— Иногда я спрашиваю себя, не следует ли кое-кого воспитывать палкой.

— Не сердитесь.

— Я волен вести себя, как мне заблагорассудится. Вы рассердили меня, а я как раз собирался вам кое-что предложить, причем с самыми лучшими намерениями...

На пристани Энкарнасьон шумно сошли почти все из тех, кто обсуждал проблему контрабанды. Корреа спросил:

— Так что вы собирались мне предложить?

— Третий вариант, избавляющий вас от мучительной альтернативы.

— Простите, сеньор, я не совсем понимаю. Какой альтернативы?

— Спать или заниматься. И вы, молодой человек, даже во сне извольте называть меня доктором.

Корреа подумал — или почувствовал,— что предложение, которое освободило бы его от выбора между учебниками и сном, крайне заманчиво. Он уже собирался дать согласие, как вдруг вспомнил, чем занимается этот доктор.

— Прежде чем принять ваше предложение, я хотел бы попросить у вас объяснений. Прошу, ответьте мне со всей искренностью.

— Вы намекаете, что я неискренен?

— Никоим образом.

— Ну так говорите.

— Не думайте, что я боюсь, но представьте только, вдруг со мной что-то произойдет и я не смогу готовиться или

прийти на экзамен! Это было бы катастрофой. Вы меня понимаете? Мне грозит опасность?

— Человека всегда подстерегают неожиданности, так что трусу можно дать лишь один совет: не высовывать носа из своей конуры. Но сейчас вы путешествуете словно коронованная особа — инкогнито, и вам ничего не грозит.

Прежде чем Корреа окончательно согласился, доктор стал обращаться с ним как со своим товарищем и пустился в рассказы, которые, по мнению молодого человека, не имели никакого отношения к делу. Доктор сообщил, что живет вместе с супругой на одном островке; недавно бойкий аукционист предложил ему интересное дельце — купить еще один остров неподалеку; он выслушал предложение, но вовсе и не думал его принимать, ибо больше всего не любит расставаться с деньгами, хотя бы и ради будущих выгод. Но в тот день, когда о предложении узнала его жена, миру в доме настал конец.

— Жена у меня просто неугомонная,— продолжал он.— Вы не поверите, внутри у нее точно мотор, и она с самого начала загорелась этой идеей. Твердит и твердит: «Всегда надо стремиться вверх. Остров — это еще одна ступенька». Но я тоже по-своему упрям, так что спорить не спорил; но и не уступал — по крайней мере, до последнего воскресенья в прошлом месяце, когда к нам явились в гости подруги жены и я сказал себе: почему бы не прокатиться на этот остров и не поглядеть, как и что? Сел на свой катер и отправился. Когда я приехал, сторож слушал футбольный репортаж и сказал, чтобы я осмотрел остров в одиночку, хотя особенно смотреть там нечего.

В этом месте рассказа доктор сделал паузу и многозначительно добавил: — Но оказалось, что сторож ошибался.

Если тут и была какая-то тайна, Корреа в нее не верил. Однако он заподозрил, что доктор хочет его отвлечь, чтобы он не смотрел на берега и позже не смог припомнить дорогу.

А впрочем, смотри не смотри, эти незнакомые, такие схожие берега лишь сбивали его с толку, повторяясь словно части одного сна.

— Почему сторож ошибался?

— Сейчас узнаете. Мой дедушка, который успел сколотить в Польше недурное состояние, но был вынужден эмигрировать, часто говорил: «Тот, кто ищет, находит. Даже там, где ничего нет, если поискать хорошенько, найдешь то, что ищешь». И еще он говорил: «Лучше всего искать на чердаках и в самых дальних закоулках сада». Этот остров далеко не сад, и все же...

— Все же что? — Нам выходить,— сказал доктор и крикнул: — Капитан, причальте, пожалуйста.

Маленький причал был на вид гнилой и шаткий. Корреа посмотрел на него с опаской.

— Я поступаю дурно, сеньор,— простонал он.— Мне надо бы заниматься.

— Сеньор тут ни при чем. Вы знаете не хуже меня, что сегодня все равно не сели бы за книги. Оставьте свои глупости и будьте любезны следовать за мной. Идите по моим следам. Видите хижину среди ив? Там живет сторож. Не бойтесь. Собаки у него нет.

— Честное слово?

— Честное слово. У этого человека нет иных товарищей, кроме радиоприемника. Здесь все время ступайте строго за мной. Надо идти по твердой земле, чтобы не оставлять следов. Держу пари, если вас не предупредить, вы полезете прямиком в грязь, как поросенок.

Доктор отводил руками ветки, открывая путь. Молодому человеку показалось, что они спускались по склону; сумерки постепенно сменились темнотой, словно они попали под землю, в туннель. Потом он понял, что они на самом деле идут по туннелю, узкому и длинному туннелю из растений, пол которого устилали листья, а стены и потолок слагались из листьев и ветвей; правда, самая глубокая часть и впрямь уходила под землю — там было совершенно темно. Место оказалось крайне неприятное — такое странное и неожиданное. Как же он допустил, спрашивал он себя, чтобы ему помешали выполнить свой долг? Кто его спутник? Контрабандист, преступник, которому не доверился бы ни

один человек в здравом уме. Хуже всего, что теперь он полностью зависит от этого человека: если его бросят одного, он не сумеет найти дорогу назад. Ему пришла на ум нелепая мысль, тем не менее похожая на правду: казалось, в обе стороны туннель тянулся бесконечно. Молодой человек совсем уже разволновался, как вдруг они очутились снаружи. Весь переход длился не больше трех-четырех минут; под открытым небом он занял бы и того меньше. Место, куда они вышли, было совершенно иным, чем то, где они вошли. Корреа описывал его как «город-сад» — это выражение он слышал не раз, но не очень представлял, что оно означало. Они шагали по извилистой улице, среди садов и белых вилл с нарядными красными крышами. Доктор спросил его с упреком:

— Вы явились сюда без золота? Так я и думал, так я и думал. Вам обменяют деньги в любом месте, но только смотрите не дайте себя надуть. Я знаю, где обменивают песо по хорошему курсу и где купить товары, которые в Буэнос-Айресе принесут неплохой доход. Вы понимаете, подобные знания кое-чего да стоят, и я не собираюсь делиться ими с первым встречным. Когда-нибудь, не исключено, я возьму вас в компаньоны. А пока каждый устраивается как может. Видите эту надпись?

— «Четырнадцатая остановка»?

— Вот именно. Мы встречаемся здесь завтра в пять утра.

Корреа запротестовал. Так они не договаривались. Он согласился потерять одну ночь, а теперь выходит, что он потеряет две ночи и день.

Доктор отступил на шаг, как будто хотел рассмотреть его получше.

— Вы только поглядите, что он мне предлагает. Чтобы мы возвращались среди бела дня, на глазах у всех конкурентов. Знаете, с вами надо держать ухо востро, иначе наше знакомство дорого мне обойдется. А теперь скажите, что вы станете делать один, за границей, без моей помощи? Сядете и заплачете? Побежите просить консула, чтобы он отправил вас домой в чемодане?

Корреа понял, что судьба его целиком зависит от доктора и лучше его не сердить.

— До завтра,— сказал молодой человек.

— До завтра,— отозвался доктор и посмотрел на часы.— Ровно в пять, тогда времени у нас будет с избытком, потому что рассветает в шесть. Я не люблю суетиться. Теперь я — сюда, а вы — туда. И не вздумайте следить за мной, а то вам не поздоровится.

Пройдя несколько шагов, Корреа подумал, что, если доктор не придет на свидание, ему будет плохо. Денег у него с собой было немного, и конечно же, он не слишком надеялся, что сам найдет вход в туннель. Разумнее было бы поискать туннель сейчас, пока еще не все смешалось в памяти. Он попытался вернуться тем же путем, но скоро заблудился среди путаных улиц. Была еще одна подробность, о которой он не расспросил доктора, боясь выглядеть дураком: где они находились? У него закружилась голова, и он подумал, что не стоит, падая с ног от усталости, плутать по этим улицам, проложенным вопреки всем законам градостроительства. И еще он понял, что прежде всего должен немного поспать. Потом уж он разберется, что к чему. «Я лягу где угодно,— сказал он вслух и добавил: — Где угодно, лишь бы не было собаки». Но сразу же возникли проблемы, потому что здесь было принято в каждом саду держать собаку, а то и двух. Желая, быть может, успокоить свою совесть, он подумал: если бы вместо того, чтобы, как кретин, послушаться доктора, он внял бы голосу разума и вернулся на остров Меркадера, все равно он не смог бы заниматься — так он устал. Если ему сию же минуту не попадется сад без собаки, он уснет прямо на улице. Холодея от страха, он вошел в какие-то ворота и двинулся к беседке, обсаженной лаврами,— в сером утреннем свете они казались призраками. Все было тихо, и он уснул.

Когда Корреа проснулся, солнце било ему в глаза. Он прищурился и вздрогнул, потому что кто-то стоял рядом и смотрел на него. Это оказалась молодая женщина, совсем недурная собой, но лицо ее было каким-то распухшим.

Нервничая, он смутно подумал, что должен успокоить ее.

— Простите за вторжение,— сказал он.— Мне так хотелось спать, что я лег и заснул. Не бойтесь, я не вор.

— Мне все равно, кто вы,— ответила женщина.— Хотите перекусить? Уже поздно, вы, наверное, голодны, но придется удовольствоваться завтраком. Сегодня я ничего не готовила.

Они пошли по лужайке, среди кустов, и наконец подошли к белому дому с черепичной крышей; вокруг него шла галерея, выложенная красной плиткой. Внутри было темно и прохладно.

— Меня зовут Корреа,— сказал молодой человек.

Женщина ответила, что ее зовут Сесилия, и добавила фамилию, прозвучавшую как-то вроде Виньяс, только на иностранный лад. По всей видимости, они были одни.

— Садитесь,— сказала женщина.— Я приготовлю завтрак.

Корреа подумал о странном туннеле, собственно очень коротком, который, очевидно, завел его весьма далеко, и спросил себя, где же он находится. Потом встал, прошел по коридору, заглянул на кухню. Сесилия стояла спиной к нему, у плиты; на огне закипала вода, подрумянивался хлеб. Она обернулась не сразу и быстро провела рукой по лицу.

— Я хочу задать вам один вопрос,— начал Корреа, но замолчал и наконец спросил: — Что случилось? — Меня бросил муж,— ответила Сесилия плача.— Как видите, ничего необычного.

Корреа снова отложил свой вопрос и принялся утешать женщину, но это оказалось не просто: трудности возрастали по мере того, как он все больше узнавал о случившемся. Сесилия любила мужа, а он бросил ее ради другой, более молодой и красивой.

— Теперь ясно, что он всегда обманывал меня, так что от моей великой любви не осталось даже светлых воспоминаний.

Сесилия не переставала плакать, и молодому человеку было неудобно сказать, что вода закипела. Когда по кухне

разнесся запах горелого хлеба, Сесилия улыбнулась сквозь слезы. Корреа решил, что улыбка ему нравится — отчасти потому, что плач на миг прекратился. К сожалению, она снова заплакала; Корреа погладил ее по волосам, ибо не находил убедительных доводов, которые могли бы ее утешить, и обнаружил, что ласкать плачущую женщину как-то проще. Сесилия отвечала на его ласки, не прерывая рыданий. Ему удалось немного приободрить ее, но тут неосторожное слово, видимо, вызвало воспоминания, грозившие новым взрывом. Когда он уже готовился к худшему, Сесилия сказала: — Теперь я тоже хочу есть. Сейчас что-нибудь приготовлю.

«Слезлива, но характер хороший»,— подумал Корреа. Они поели, потом пошли отдыхать, и оказалось, что времени хватает на все. Впервые за эти часы вспомнив о докторе Марсело, Корреа подумал: «Лишь бы он не опоздал на встречу». Затем его охватил страх, что час свидания придет слишком скоро; он решил, что догадки о том, почему Сесилия не отвергает его ласк, не только циничны и грубы, но и нелепы. «Ей больно, потому ей и хочется, чтобы ее утешали,— сказал он себе.— Ласки — универсальное средство, ведь плачущие дети успокаиваются, когда их ласкают». Он забыл о докторе, забыл об экзаменах. И нашел, что Сесилия ему очень нравится.

В этот долгий день, когда столькое ему удавалось, молодому человеку удалось наконец спросить: — Где мы находимся? — Не понимаю,— ответила Сесилия.

— В какой части света мы сейчас?

— В Уругвае, конечно. В Пунта-дель-Эсте.

Молодому человеку понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Потом он спросил: — Как далеко Пунта-дель-Эсте от Буэнос-Айреса? — На ширину Ла-Платы. Самолетом примерно так же.

— А сколько это километров?

— Около четырехсот.

Корреа сказал, что она очень умная, но есть кое-что, о чем он знает, а она, наверное, нет.

— Спорю, ты не знаешь, что есть такой туннель, по которому можно прийти сюда пешком, не торопясь, что называется, нога за ногу, за пять минут.

— Откуда?

— Из Тигре, конечно. С самой дельты. Думаешь, я вру? Вчера вечером мы с одним доктором по имени Марсело выехали из Тигре на катере, проплыли ну совсем недолго, высадились на остров, поросший тополями и кустарником,— такой же, как все остальные. Там находится вход в туннель, снаружи его не видно. Мы вошли и минут пять спустя (но под землей казалось, что мы идем вечность) очутились среди садов и вилл, в районе парков, в городе-саде.

— В Пунта-дель-Эсте?

— Вот именно. Только я должен предупредить, что про туннель никто не знает, кроме нас троих — доктора, тебя и меня. Прошу тебя, никому о нем не говори.

Увлекшись объяснениями, Корреа не заметил, что Сесилия опять погрустнела.

— Я никому не скажу,— заверила она и добавила уже другим тоном: — Как бы обманщик ни клялся, он в конце концов все равно бросит тебя одну.— Не понимаю, как кто-то мог тебе лгать! — горячо воскликнул Корреа.

Вдруг его почему-то охватил страх, что Сесилия думает, будто туннель — вранье. Он снова и теперь с большими подробностями стал описывать все путешествие, начиная со встречи с доктором Марсело и вплоть до прощания на Четырнадцатой остановке.

— Как раз на этой остановке,— подчеркнул он,— завтра ровно в пять утра доктор будет ждать меня, чтобы отвести назад.

— Через туннель? — спросила Сесилия, опять на грани слез.

— Мне надо заниматься. До экзаменов остается совсем немного. Я сдаю за первый курс юридического.

— К чему эти сказки? Я скоро привыкну к тому, что меня бросают.

— Это не сказки. Напротив, я дал тебе сейчас лучшее

доказательство моей искренности. Если доктор Марсело узнает, он меня убьет.

— Ах, оставь, пожалуйста, это все равно как если бы я сказала, что за пять минут пришла по туннелю из Европы.

— Нет, здесь совсем другое. Послушай хорошенько: между Европой и нами много километров, много моря. Если ты мне все еще не веришь, я попрошу доктора Марсело объяснить мне, как это получается, и на следующей неделе, когда вернусь, все тебе расскажу.

— Когда вернешься,— сказала Сесилия, словно говоря сама с собой.

Чтобы не терять времени на поиски убедительного ответа, Корреа стиснул ее в объятиях. Лучшая часть этого дня была очень счастливой и тянулась долго-долго — как ему казалось, дольше, чем сам день. Хотя на ночном столике торопливо тикал будильник, они верили, что время остановилось; но вдруг в доме потемнело, Корреа подошел к окну и отчего-то огорчился, увидев, что наступили сумерки.

Ночь еще приберегла для них счастливые мгновения. Они немного поели (в воспоминаниях молодого человека этот ужин рисовался пиром), вернулись в постель, и им опять показалось, что время замедлило свой бег. Они проголодались, и когда Сесилия вышла на кухню, Корреа поставил будильник на половину пятого. Потом они ели фрукты, разговаривали, обнимались, снова разговаривали и, наверное, уснули, потому что звон будильника перепугал их обоих.

— Что это? — спросила она.— Почему?

— Я поставил будильник. Помнишь, меня ждут.

— Да, ровно в пять,— не сразу откликнулась Сесилия.

Корреа оделся. Он обнял ее и, чуть отстранив, заглянул в глаза.

— Я вернусь на следующей неделе,— пообещал он; хотя он был уверен, что вернется, его сердили сомнения Сесилии: она явно не верила ни в его обещания, ни в туннель.— Хотелось бы, чтобы ты проводила меня до Четыр-

надцатой остановки и увидела собственными глазами: доктор Марсело — не выдумка. Но раз ты не идешь, пожалуйста, укажи мне дорогу.

Сесилия не столько объясняла, сколько обнимала его.

Наконец он ушел. Не раз ему казалось, что он сбился с пути, но в конце концов он добрался до места встречи. Никто его не ждал. «Вот будет ужас, если доктор меня не дождался,— подумал он.— Вот будет ужас, если я не явлюсь на экзамен».

Ему было немножко стыдно возвращаться в дом Сесилии, признаваться ей, что денег у него совсем мало и, пока не найдет работы, он не сможет вносить свою долю на расходы. Наверное, такое признание — простая формальность, ведь они любят друг друга, однако формальность достаточно неприятная для того, кто уже приобрел славу обманщика. Все же он решил, что положение не столь уж безвыходное; Сесилия будет довольна, и если они заживут вместе, все недоразумения скоро исчезнут. Погруженный в свои размышления, он машинально смотрел, как к нему приближается какой-то человек. Уже довольно давно тот шел к остановке, с трудом волоча два больших тюка.

— Какого черта вы мне не помогаете? — закричал человек.

Корреа вздрогнул и извинился: — Я вас не заметил.

Доктор утер лоб платком и перевел дух. Потом сказал: — Вы ничего не купили? Поверьте, я это предчувствовал. У вас не было денег — это плохо, и вы не попросили у меня взаймы — а это хорошо, право, хорошо. Вы поживитесь в следующий раз. А пока — помогите мне.

Корреа кое-как потащил оба тюка, действительно весьма тяжелые. Чтобы не спотыкаться, он устремил все внимание на дорогу — точнее, смотрел себе под ноги.

— Я боялся, что вы не придете,— сказал он задыхаясь. Он почти не мог говорить.

— Это я боялся, что вы не придете,— ответил доктор.— Знаете, сколько весят эти сумки? Теперь мне кажется,

что у меня выросли крылья. Честное слово, идти — одно удовольствие. Ну, вперед.

Посреди туннеля молодому человеку пришлось еще раз остановиться и передохнуть.— Никак не могу понять,— заметил он,— почему, если идти этим туннелем, путь между Пунта-дель-Эсте и Тигре оказывается таким коротким.— Не Тигре,— уточнил доктор,— а островом, который я собираюсь купить на свои сбережения.

— Ну, практически это одно и то же. Если от Пунта-дель-Эсте до Буэнос-Айреса самолет летит час...

— Я скажу вам без околичностей: меня самолет не устраивает. Туннелем куда короче, и, что характерно, я не плачу ни гроша.

— Вот этого я и не понимаю. Если исходить из того, что земля круглая...

— Исходить, исходить... Вы говорите, что она круглая, потому что вас так учили, а на самом деле не знаете, круглая она, квадратная или еще какая-нибудь. Предупреждаю вас: в вопросах географии на меня не рассчитывайте. В мои годы эти глупости только злят. Я спрашиваю себя, не было ли роковой ошибкой взять вас в компаньоны. Такой человек, как вы, полностью оторванный от действительности, того и гляди начнет болтать о моем туннеле с женщинами и посторонними.

— С чего вы взяли, что я стану болтать? — запротестовал Корреа.— Да еще с посторонними.

— Ни с кем,— подчеркнул доктор, пронзая его взглядом.— Ни с кем.

Они вышли на остров; Корреа увидел небо, почувствовал грязь под ногами; они пошли среди ив, потом углубились в густые поросли молодых тополиных побегов. Молодой человек едва мог двигаться.

— Вы нарочно ведете меня в самую гущу?

— Неужели вы не понимаете, что мы ищем место, где спрятать тюки? Или вы думаете, что я повезу их на катере, к радости всех пассажиров?

Наконец они добрались до зарослей камыша, которые

показались доктору подходящими.

— Здесь сам господь бог их не отыщет,— заметил Корреа.

— Я не интересовался вашим мнением.

Корреа пропустил грубость мимо ушей и спросил:

— И на сколько вы их оставите?

— Я вернусь сегодня же ночью на своем катере. Но вы что-то стали слишком любопытны. Уж не думаете ли поживиться чужим добром?

Молодой человек вскипел: — Да за кого вы меня принимаете?

Доктор тут же сник и стал извиняться: — Это шутка, просто шутка. Хоть бы катер пришел поскорее. Признаюсь, мне не очень-то уютно в этих болотах. И потом, не хотелось бы, чтобы нас тут заметили. Вот-вот рассветет, и нас увидит первый же зевака. Должен сказать, что теперь готов согласиться с моей женой: надо купить этот остров. И как можно скорее, потому что в любой момент какой-нибудь бездельник, которому нечем заняться, начнет спрашивать себя, что потерял здесь этот сеньор, отчего дважды в неделю приезжает на остров, вовсе ему не принадлежащий. Я не любитель швыряться деньгами, но на этот раз зажмурюсь и куплю.— Вы правы,— отозвался Корреа.— Надеюсь, с нами ничего не случится.

Появился катер, и они принялись кричать. Доктор заплатил за проезд, но как только они уселись, сразу заявил: — Надеюсь, мне вернут этот долг. Чуть зазеваешься, и тебя обдерут как липку.

Корреа дал ему бумажку в десять песо. В те годы это было немало.

— Получите.

— Вы что же, хотите забрать у меня всю мелочь?

— Других денег у меня нет.

Доктор, казалось, был раздражен. Потом, вдруг просияв, похлопал себя по карману.

— Здесь они будут целее. Я верну вам сдачу в следующий раз.

— Когда мы вернемся сюда?

Ответа не последовало, а повторить вопрос он не посмел. Какое-то время они молчали.

— Если вам на остров Меркадера,— наконец сказал доктор,— пробирайтесь-ка к борту, здешние перевозчики дожидаться не любят.

Корреа подчинился и спросил: — Значит, мы сюда не вернемся? — Доктор больно пихнул его в спину.

— Вы неисправимы,— прошипел он.— Говорите потише, или вы хотите, чтобы про это знали все на свете? Мы встретимся в четверг, в тот же час, на том же месте. Ясно?

Корреа едва мог сдержать восторг. Он сказал себе, что все устраивается как нельзя лучше. Сесилия ждет его на следующей неделе, а он сделает ей сюрприз — конечно же, очень приятный — и появится в пятницу на рассвете. Он готов был уже спрыгнуть на берег, но вдруг спросил себя, обо всем ли они договорились. Мысль, что они могут не встретиться, привела его в ужас. Он пробормотал: — Значит, в половине двенадцатого?

— Прекрасно.

— В Тигре?

— Если нам с вами все известно,— прервал его доктор, дрожа от злости,— зачем информировать других? Сходите, будьте так любезны, сходите.

Стоя на причале, Корреа посмотрел вслед уходящему катеру. Потом направился к хижине, большими прыжками взлетел по ступеням, распахнул дверь и остановился, чтобы приободриться, ибо знал, что едва он переступит порог, как начнется ожидание. Долгое и мучительное ожидание второго путешествия в Уругвай. «Не знаю, что со мной. Нервы разыгрались»,— заметил он вслух. Чего ему явно не хотелось, так это заниматься. Чтобы не тратить время попусту — до экзамена надо было дорожить каждой минутой,— лучше всего было бы немного поспать. Он успокоится, а уж потом, на свежую голову, всерьез возьмется за подготовку. Растянувшись на койке, он понял, что спать ему тоже не хочется. До четверга еще так далеко, а до пятницы, до свидания с Сесилией — целая вечность: за это время

столькое может произойти, что спокойнее не думать об этом. Он представил себе встречу в Тигре; представил, что будет, если доктор почему-либо не сдержит слова. Корреа знал о нем так мало, что найти его почти невозможно. Даже фамилия доктора была неизвестна. Если доктор в четверг не придет, молодому человеку останется лишь каждый день торчать на пристани — на всякий случай. А если доктор не вернется на берег, если впредь будет ездить со своего острова прямо на остров с туннелем? Корреа подумал, что разумнее всего было бы сегодня же вечером дождаться его возле тюков. Так по крайней мере они наверняка встретятся, ведь доктор приедет за товаром, как только стемнеет. Он спросил себя, в состоянии ли узнать остров в этой незнакомой дельте, где каждый дом, каждый причал — все путалось, все терялось среди одинаковых деревьев. Впрочем, чем скорее он вернется туда, тем больше шансов узнать это место. Он нашел деньги, припрятанные в толстой «Политической экономии» Жида. Доктор, не вернув ему сдачу, не только отобрал у него несколько песо, которые никогда не мешают, но и лишил его возможности узнать стоимость проезда — ведь, исходя из цены билета, можно было бы рассчитать, где находится остров. Теперь он даже не знал, как, какими словами попросить билет. Нельзя было сказать ни «дайте мне билет за столько-то песо», ни «дайте билет до такого-то острова». Здесь, в дельте, он мало что знал по названиям. Потом он задумался, когда ему ехать. Следовало хорошенько выбрать момент: если ехать днем, его могут заметить на острове, а если ехать в сумерках, он может не узнать нужного места. Чем дальше, тем живее рисовал он себе грядущие неприятности. Кто знает, сколько ему придется ждать возле тюков, воюя с комарами, посреди этого болота, заросшего камышами и травой? И для чего? Встреча в четверг не станет от этого вернее. Наоборот: сомнения только возрастут. До сих пор он не давал доктору причин для недовольства: он был полезен, помог с тюками; но если доктор вдруг встретит его на острове — кто разубедит его, что молодой человек

не собирается его обокрасть или воспользоваться туннелем, чтобы работать на свой страх и риск? И напротив, если не злить доктора несвоевременным приходом, почему бы тому не явиться на встречу? Чтобы прикарманить сдачу с билета? Это казалось маловероятным.

Единственно правильным решением было выполнить уговор. Итак, он будет терпеливо ждать четверга и заниматься, как полагается.

Едва Корреа принял это решение, как впал в крайнее беспокойство. Предпочтя не действовать, а выжидать, бранил он себя, он лишь подтверждает свое малодушие и трусость. Среда прошла у него в колебаниях и принятии противоречивых решений. Не в силах заниматься, он пытался спать; не в силах спать, пытался заниматься. В четверг на рассвете он крепко заснул. Когда проснулся, до встречи с доктором оставалось уже немного. Он помылся и побрился холодной водой, нашел чистую рубашку, быстро оделся и помчался на берег ждать катера. Все вышло прекрасно. Ровно в половине двенадцатого, как они и договаривались, Корреа стоял на пристани. Через некоторое время он сказал себе, что для верности следовало приехать в одиннадцать, самое позднее в четверть двенадцатого. Конечно же, если доктор хотел обойтись без него, не к чему было приходить раньше, а если не хотел — то не уедет раньше времени. «Не отстают ли мои часы»,— подумал Корреа и сверил их с часами мужчины, тоже ожидающего катера. Часы шли верно.

Подошел катер. Молодой человек спросил, последний ли это. Оставался еще один.

Если доктор не придет, он сядет на последний катер и не будет спускать глаз с берегов, чтобы не пропустить остров. А там уж не составит труда найти вход в туннель. Вместе с доктором все было бы намного проще, но и один он тоже сумеет поскорее попасть туда, где его ждет Сесилия.

Доктор не шел. Корреа стал загадывать: доктор появится, когда вверх по реке пройдет три судна, а вниз ни одного...

Прошли три судна. Причалил катер. Молодой человек собирался уже прыгнуть на борт, но господи, как страстно он желал, чтобы вдруг рядом оказался доктор! Он уже занес ногу, когда увидел человека, идущего через улицу к пристани. Тот помахал рукой, может быть, что-то крикнул. Только когда человек вступил на пристань, в круг света от фонаря, Корреа понял, что это не доктор, что он даже не похож на доктора, хотя оба были низенькие и довольно толстые. Невероятно, но незнакомец направился прямо к молодому человеку.

— Вы кого-то ждете, верно? — спросил он.

— Да.

— Некоего доктора?

— Доктора Марсело.

— Он не смог прийти. Идемте со мной.

Немного поколебавшись, Корреа пошел за ним. Они прошли вдоль берега, свернули налево. Корреа прочел на углу название улицы: Тедин. У дверей еще виднелись люди.

— Далеко? — спросил он.— Только не говорите, что уже устали,— ответил его спутник; он казался не таким щеголеватым, как доктор, и более крепким.— Перейдем мост через Реконкисту и будем на месте.

Они поравнялись со стеной, за которой находился клуб Государственной газовой компании. У стены чуть впереди стоял человек огромного роста. Корреа замедлил шаг и сказал: — Это не доктор.

— И близко от него не стоял. Да вы что, никак не доверяете мне?

— Не то чтобы не доверяю, но...

— Какие еще «но». Если не доверяете, значит, у вас есть на то свои причины. Так вы идете или вас подтолкнуть?

Прежде чем идти дальше, Корреа бросил быстрые взгляды направо и налево.

— Не смотрите понапрасну: вокруг никого нет.

— Не понимаю.

— Понимаете. И я скажу больше: если вы не доверяете, это настораживает нас — меня и этого сеньора, моего друга.

Великан невозмутимо поглядывал на них. Его совершенно круглая голова была покрыта короткими черными волосами. Корреа подумал, что где-то видел его.

— Вы хотите меня ограбить?

— За кого вы нас принимаете? Неужто мы станем мараться из-за вонючей мелочи, которая у вас с собой? Не смешите меня. И цените нашу доброту: мы с другом притащились вон куда, чтобы дать вам один совет. Слушайте хорошенько: компаньона, которого вы себе подыскали, надо забыть. Забыть, будто его и не было. Для вашего же блага, ясно? Этот сеньор вас ком-про-ме-ти-рует. Вам все понятно?

Чтобы выиграть время и подумать, ибо в голове у него стоял туман, Корреа переспросил: — Доктора?

— Да, доктора или как вы там его называете. Не стройте из себя дурачка, а то мой друг разнервничается и с вами тоже может произойти какая-нибудь неприятность. Вы прекрасно знаете, о ком мы говорим: о кругленьком таком толстячке.— Великан сказал неожиданно тихим голосом: — Вы давайте позабудьте обо всем, что знаете, и о нас тоже, и держитесь-ка подальше от тех мест, где вас видели с этим доктором. Договорились? — Ну конечно, договорились, отчего же нет,— отвечал Корреа.

Когда он понял, что дышать стало легче, он вспомнил о Сесилии и спросил себя, неужели просто из трусости он откажется от нее... Бояться нечего, надо говорить, его заботы вполне обычны, их поймет любой.

— Можно рассказать все по-честному? — спросил он.— Можно, можно,— ответил высокий,— только если не слишком долго.

— Все, что я скажу, очень просто. Я ищу этого доктора вовсе не из-за корысти. Знаете, зачем он мне нужен? Чтобы отвести меня на другой берег, потому что там ждет меня один человек.

— Сеньор-то у нас бескорыстный,— сказал высокий, указывая на него пальцем.

— И везучий. Его кто-то ждет на другом берегу.

— И он жить не может без этого человека. Сеньор считает нас с тобой идиотами.

— Так считал и доктор, да покоится он в мире.

— Да доктор этот просто наглец. Вздумал забавлять нас небылицами.

— Всякими сказками, вроде человека, что ждет сеньора на другом берегу.

Корреа возмущенно запротестовал — сначала из-за того, что ему говорили, потом оттого, что его трогали, но вскоре умолк и только, когда началась экзекуция, успел поднести руки к голове. В какой-то миг — как он потом убедился, много позже — его пробудил мужской голос, повторявший настойчиво и мягко:

— Что с вами? Вам нехорошо?

С помощью неизвестного — высокого господина с седыми усами и в очках — Корреа кое-как поднялся. Все тело у него болело.

— Кажется, меня побили,— заметил он печально.

— Хотите обратиться в полицию? Если желаете, я провожу вас в комиссариат. Комиссар — мой друг.

— Пожалуй, не стоит заявлять в полицию. На сегодня с меня хватит и побоев.

— Как вам угодно. Зайдемте на минутку ко мне, я немного обмою ваши ушибы.

Корреа поддался уговорам и с трудом побрел, куда его вели. Дом показался ему весьма привлекательным, решетки и люстры были кованые, а кресла, как в старом монастыре.

— Простите, что я вам мешаю,— сказал Корреа.

— Здесь светло и все видно. Вам удобно? Это самое главное.

Его усадили под торшер, тоже кованый, стоящий в углу гостиной. Корреа благодарно подумал: «Я в парадной столовой, где собираются по большим праздникам». В центре комнаты стоял длинный лакированный стол из черного дерева.

Хозяин промыл ему раны перекисью водорода и заботливо отер его лицо.

— Жжется,— сказал Корреа.

— Ничего страшного,— заверил его господин.

— Это потому, что жжет не вас.

— Не спорю. Однако согласитесь: вы дешево отделались, если учесть, чем кончилось с тем, другим,— вы понимаете мою мысль? И не подумайте, что это плохие ребята.

— Вы их знаете? — удивленно спросил Корреа.

Господин приятно улыбнулся.

— Здесь знаешь всех,— объяснил он.— Как я говорил, ребята они совсем не плохие, разве что немного нервные, но это у них по молодости. Вам не надо было лгать.

— Я не лгал.

— Путешествие на другой берег, чтобы повидать женщину,— старая сказка.

— И однако, это правда.

— Дорогой мой сеньор, постарайтесь понять, что если вы беседуете с серьезными людьми, лучше не пытаться провести их подобными россказнями. Вполне естественно, по-человечески понятно, что наши друзья вышли из себя. Кроме того, чтобы повидать женщину, зачем являться к ней вместе с доктором?

— Доктор знает остров, где есть туннель.

С этого мига сцена пошла быстрее.

— Вы хотите сказать, пещера — пещера, где хранится товар? Не подождете ли вы минутку?

— Я ухожу.

— Вы подождете.

Выходя из комнаты, хозяин дома сделал знак рукой, означавший, что надо подождать, и запер дверь на ключ. Простой этот факт испугал молодого человека больше, чем незадолго до того спор с бандитами. («Меня начали бить, когда я еще ничего не понял»,— объяснял он потом.) Он слышал, как в соседней комнате господин с седыми усами говорил по телефону, хотя и не различал слов. «Меня не одурачишь,— подумал он.— Выберусь в окно». Окно выходило в темный сад и было забрано решеткой с частыми прутьями. Он мог, конечно, позвать на помощь, но рисковал

тем, что хозяин услышит его прежде, чем кто бы то ни было, и тогда... Лучше не думать.

«Минутка» длилась долгих полчаса. Наконец он услышал, как ключ поворачивается, увидел, что дверь открылась и в гостиную вошли хозяин, а следом оба бандита. Поистине этой ночью страшным неожиданностям не было конца.

— Вот мы и снова вместе,— сказал тот, кто был пониже.— Хочется верить, что на радость всем.

— В этой вашей пещере действительно полно товара? — поинтересовался великан.

— Это не пещера, и там нет абсолютно ничего.

— Думайте, что говорите,— посоветовал ему хозяин дома.

— Что вы хотите? Что вам надо?

— Не так уж трудно поехать и посмотреть,— сказал господин с седыми усами.— Однако,— предупредил молодого человека тот, кто был пониже,— для вашей личной целости было бы лучше, если бы мы нашли пещеру полнехонькой.— Кто ее найдет? — храбро спросил Корреа.

— Вы. Мы посадим вас на катерок и назначим капитаном,— весело ответил великан.

— Я совсем не уверен, что смогу ее найти.

— Теперь новая песня?

— Доктор брал меня с собой только раз. Я в этом краю недавно. Все в дельте кажется мне одинаковым.

— Мы ничего не теряем, если попробуем,— сказал хозяин дома.— Но извольте не затыкать ему рот. С вашими штучками мы далеко не уедем. Если бы я не вмешался, откуда узнали бы мы о пещере?

Молодого человека запихнули в автомобиль, на заднее сиденье, между великаном и толстяком. Пожилой господин сел за руль. Когда они подъехали к берегу, занимался рассвет. Корреа затосковал и сказал, не сдержавшись: — Я уверен, что не узнаю острова, и вы меня убьете. Лучше уж убейте сейчас.

Бандиты встретили его слова дружным смехом.

— Ему сейчас совсем не смешно,— объяснил им пожи-

лой господин.— Он всегда жил далеко от моря, и ему будет неприятно, если мы бросим его в воду.

Все забрались в катер. Толстяк сидел на руле, болтая с великаном; пожилой господин и Корреа устроились сзади. Корреа был очень испуган, печален и дрожал от холода. Ушибы на лице горели огнем, все тело нестерпимо болело. Почему-то он обратил внимание на маленькую лодчонку, привязанную за кормой, на два весла, лежавшие под сиденьями катера. Они подъехали к пристани Энкарнасьон, и пожилой господин сказал: — Вот и наш причал.

Корреа с поразительной ловкостью вскочил на ноги. Остальные расхохотались.

— Не надейтесь,— сказал толстяк.— Мы еще поплаваем. Просто сеньор вспомнил, как мы вышли здесь в ту ночь, когда вы встретились со своим дружком-доктором.

Пожилой господин обратился к великану: — А ты сразу же заснул?

— Я не хотел.

— Не об этом речь. Отвечай на мой вопрос.

— Пока мы шли вдоль этого берега, я не спал, но глаза у меня уже закрывались, а это очень неудобно.

— Молодец.— Пожилой господин пристально посмотрел на молодого человека и спросил: — В какой-то момент вы пересели на другой катер?

— Нет. Зачем?

— Сколько времени вы плыли отсюда до острова?

— Минут двадцать по меньшей мере. Может быть, полчаса, не знаю. Остров был по правую руку.

— Смотрите внимательно и верьте в успех, и вы его узнаете.

— Я всегда считал, что, если поискать хорошенько, всегда найдешь то, что ищешь,— провозгласил Корреа. И тут же подумал, не сказал ли он чего-нибудь лишнего.

— Это мне нравится,— воскликнул пожилой господин и хлопнул его по спине.

Корреа подумал, что, пожалуй, судьба предоставляет ему самый удобный случай. Вряд ли он нашел бы остров

сам по себе, а на доктора, очевидно, надеяться нечего. И вот эти люди вынуждают его отыскать остров. Не успеют они и глазом моргнуть, как окажутся в Пунта-дель-Эсте, а там, воспользовавшись общим замешательством, он сбежит. Нет в мире силы, способной помешать ему встретиться с Сесилией.

Он сказал себе, что не сдержал буквально свое обещание хранить тайну туннеля, но поступил так под страхом смерти и потому, что доктору это уже не повредит.

Катер шел ровно, все было спокойно, и Корреа немного вздремнул, а открыв глаза, увидел, что они плывут уже по иным местам: здесь было куда более просторно, река словно раздалась и казалась светлее; на левом берегу появилась лесопильня, на правом — бесконечные ряды тополей. И тогда — но не сразу — у молодого человека упало сердце. Хотя он ничего не различал в лабиринте дельты, но твердо знал, что этих мест не видел никогда.

— Кажется, мы проехали,— испуганно пробормотал он.

Великан поднялся, не спеша договорил с толстяком, шагнул к молодому человеку и дважды ударил его по лицу.

— Довольно,— приказал пожилой господин.— Поворачиваем.

И добавил, взглянув на пленника: — А вы смотрите.

Корреа чувствовал, как лицо у него пылает; он спросил себя, не высказать ли этим негодяям все, что он о них думает, не считаясь с последствиями. Когда он наконец заговорил, ему самому показалось, что он хнычет, как мальчонка.

— Если мы будем плыть в обратном направлении,— сказал он,— я и вовсе собьюсь.

— Ну и терпение надо с вами,— заметил пожилой господин.

Когда — примерно через полчаса — молодому человеку удалось немного успокоиться, он сказал: — Хотел бы я видеть вас на моем месте, под угрозой новых побоев. Думаю, меня совсем запугали, иначе я нашел бы остров. Вот послушайте: мы плыли тогда в обратном направлении, остров

был по правую руку; там есть причал из гнилых досок, когда-то выкрашенных в зеленый цвет...

— Я думаю о том, что произошло. Поскольку в этом мире все лгут, мы ни во что не верим, и когда человек вдруг говорит правду, мы наказываем его. Я верю в вас.

— Если с причала смотреть по прямой в глубь острова,— продолжал объяснения Корреа,— разглядишь деревянную хижину, почти скрытую деревьями. Пройдя метров пятьдесят влево, туда, где гуще всего, вы увидите вход в туннель. И помните, что я вам говорю: это туннель, а не пещера.

— Теперь мы доставим молодого человека домой, он, наверное, уже утомился,— известил пожилой господин бандитов.

— Сначала пусть отведет нас в пещеру,— возразил толстяк.

— Я не спрашивал твоего мнения,— напомнил ему пожилой господин и, оборотившись к молодому человеку, сказал: — Мы оставим вас в покое, но можно надеяться на вашу сдержанность или вы начнете болтать направо и налево?

— Я никому ничего не скажу.

Они знали, где он жил: его отвезли прямо на остров Меркадера. Чтобы остановить катер, великан уперся веслом в дно реки. Еще не веря в то, что эти люди его отпускают, Корреа спрыгнул на причал. Тут же, внезапно пристыженный, он вспомнил о Сесилии и хотел было сказать пожилому господину, что поедет с ними, что поможет им отыскать туннель. Повернувшись, чтобы заговорить, он успел увидеть улыбку на лице пожилого господина, а очень близко от себя весло — мокрое, блестящее, огромное. Весло обрушилось на него, и он свалился в вязкую грязь. Удар был очень силен, но не смертелен — Корреа заметил весло в воздухе и откинулся назад. Он не потерял сознания, но на всякий случай лежал не шевелясь. Когда мотор катера затих вдали, он открыл глаза. Потом поднялся, вошел в хижину, собрал вещи, сел на первый катер, идущий в Тигре, и в первый поезд, направлявшийся в Буэнос-Айрес. Он хо-

тел продолжать путь дальше, в свою провинцию, чтобы почувствовать себя дома, в безопасности, но остался в Буэнос-Айресе, намереваясь вернуться в Уругвай, как только соберет деньги на билет, потому что искренне верил, что без Сесилии не сможет жить. Меркадер, у которого он попросил взаймы, сказал: — Ты забываешь, что правительство запретило поездки в Уругвай. Можно поехать в Тигре и поговорить с каким-нибудь лодочником из тех, что перевозят эмигрантов, или с контрабандистом.— Лучше не надо,— сказал Корреа.

Искать туннель он тоже не поехал. Ему незачем было видеть туннель, чтобы знать, что тот существует. А убеждать в этом остальных представлялось ему бесполезной затеей. Со временем он стал адвокатом, потом доктором права и — поскольку в жизни все катится своим чередом — вышел на пенсию государственным служащим. Человек, не склонный к риску, ровного, хотя и меланхоличного нрава, он, по словам друзей, выходил из себя, лишь когда с ним заговаривали на географические темы. В таких случаях Корреа мог сорваться и вспылить.

Юных манит неизведанное

Луисито Кориа, работавшего с братьями на материнской ферме, всегда манил к себе Росарио; но поскольку этот далекий и огромный город казался недосягаемым, Луисито мечтал об одном местном городишке, который был достаточно большим, так как превосходил масштабами поселок Ла-Калифорния (хотя не мог сравниться с Касильдой), и достаточно незнакомым и притягательным, так как под неусыпным надзором заботливой матери расстояние в двенадцать миль становилось для сына преградой почти непреодолимой.

Когда юноше исполнился двадцать один год — в февра-

ле 1930-го,— мать сказала ему очень серьезно, как и подобает в таких случаях:

— С этого дня ты взрослый человек. Если надумал уйти в город, я не буду мешать. Но учти: все, что я могу дать тебе, это благословение, совет и письмо к дону Леопольдо.

Составленное старшей из дочерей, окончившей учительские курсы, письмо было адресовано дону Леопольдо Медине, коммерсанту, называемому «Мой дорогой кум», и содержало просьбу «по возможности нанять на работу предъявителя сего, сына моего Луиса, в Вашей солидной фирме аукционов и ярмарок».

Луисито спросил: — А какой совет?

— Будь благоразумен, сын мой. Город кишит злодеями.

Уехал он на другой день, на рассвете; за его спиной сидел один из братьев, чтобы пригнать чалого назад. Добрались скоро. Дом был еще заперт, и они прождали какое-то время, прислонившись к проволочной ограде. Луисито убедился в том, что уже знал: постройки находились на окраине городка. Он предпочел бы убедиться в обратном.

Наконец появился человек, открывший дверь; через несколько минут в дом вошла толстая барышня, а потом на автомобиле типа «дубль-фаэтон» подъехал дон Леопольдо, хозяин. Это был низкорослый подвижный старик с румяным лицом, в люстриновом пиджаке, бриджах, желтых кожаных крагах.

Дон Леопольдо принял юношу в кабинете и расспросил о матери, которую попеременно называл то «ваша досточтимая матушка», то «моя кума Филомена». Сидя в огромном кресле под портретом старинного бородатого господина, очень на него похожего, дон Леопольдо прочитал письмо. Потом скрутил сигарету, зажег ее, не спеша сделал одну-две затяжки и объявил: — Просьба кумы для меня закон. Начнешь пеоном, на двадцати пяти песо в месяц. Устраивайся в домике, что стоит за дальними загонами. Там найдешь своих товарищей по безделью — Рафаэля и кордовца*

* Урожеиец, житель г. Кордовы или одноимеииой провинции в Аргеитиие.

по имени Флорес. В воскресные дни, если нет ярмарки, будешь выходной.

Луисито сказал брату на прощание: — Передай остальным, что я практически живу в городе.

Отличные ребята, Рафаэль и кордовец Флорес очень скоро стали его закадычными друзьями. Рафаэль сказал ему: — Жаль, что ты не приехал на прошлой неделе. В итальянском землячестве показывали водную пантомиму. Умереть можно было со смеху.

Кордовец добавил: — Для пантомимы установили резервуар с водой, а над ним перекинули доски. Затем появился фокусник и попросил выйти желающего. Из зала поднялся человек, ему завязали глаза и принялись вертеть, точно волчок, пока не закружили совсем. Тогда фокусник без единого слова и, как он объяснил, одной лишь силой мысли велел ему пройти по доскам из конца в конец. Когда человек начинал было падать и публика с воплями радовалась, что он сейчас бултыхнется, фокусник придерживал и выпрямлял беднягу, будто натягивал поводья, но никаких поводьев не было, только сила мысли, и больше ничего.

У Рафаэля он научился ловко вскакивать на лошадь, прямо с места и не сгибая ног. У Флореса, человека просвещенного, перенял привычку читать газету. С самого начала его особенно привлекли полицейская хроника и спортивная страница.

Рабочие дни Луисито проводил в седле: пригонял скот и распределял его по загонам. Если был выходной, прогуливался по городу — когда сам, когда с кем-то из товарищей. Все его ошеломляло: и тяжеловесная архитектура церкви и Национального банка, и необычайное оживление, царившее на улице Сан-Мартин, на площади, в кафе. В бильярдной этого заведения, куда юноша украдкой заглядывал с тротуара, с шиком прохаживался некто, достойный всяческого восхищения,— знаменитый Билардо, который выделялся щегольством, репутацией человека, угощающего выпивкой каждого второго, и той развязностью, что свойственна людям, уверенным в своей силе.

Не одну ночь провели Луисито с Флоресом, ожидая выхода важной персоны. И увидели однажды, как тот сел за руль нескончаемого автомобиля, который удалился, словно паря над роскошными арабесками своих колес с проволочными спицами оранжевого цвета. Оба парня не удержались и воспроизвели завывания и треск свободного выхлопа.

— Откуда у него столько денег? — посмеиваясь, спросил какой-то невежа.

Искренне заинтересованный, Кориа переадресовал вопрос другу. Тот — благо ему доводилось входить в кабинет хозяина с подносом горького мате — своими ушами слышал, как Мария Кармен, работавшая там толстая барышня, говорила, будто Билардо заправляет местным отделением одного солидного общества или товарищества взаимопомощи, щупальца которого опутали их провинцию и всю республику. О тех же щупальцах кордовец слышал еще весьма оживленный разговор между хозяином и неким Галиффи или Галтьери, крупным скупщиком зерна для одного торгового дома в Росарио.

Позднее, повалившись на ворох старой упряжи и оставшись наконец один, Луисито принялся вспоминать события за неделю, самую бурную на его памяти, и немедля пришел к выводу: с кучей денег кто угодно может жить припеваючи, и к решению: при первой же возможности лично повидаться с Билардо. Эти мысли вызвали у юноши небывалое ликование, и он заснул довольный.

Полностью уверенный в успехе, ждал он удобного случая, который представился в воскресенье прямо перед началом торгов, когда Билардо (одетый в столь безукоризненно черный костюм, что Луисито сперва подумал, не выразить ли для порядка соболезнование) осматривал партию скаковых полукровок, пригнанных из одного поместья. Момент был подходящий: публика толпилась у загонов для скота, так что они с Билардо оказались одни у дальних построек. Боясь, что кто-нибудь его заметит и заподозрит неладное, юноша без промедления сказал: — Сеньор Билардо, позвольте.

— Говори.

— Очень прошу вас, помогите мне, пожалуйста, в этом вашем товариществе.

Билардо сурово посмотрел на него и произнес с безучастным видом:

— Даже и не пойму, о чем ты толкуешь.

— Ну как же, а общество взаимопомощи!

— Во всяком случае, ты не кажешься болтуном.

Луисито взглянул на него в недоумении, но быстро обрел свой апломб и сказал: — Сделаю все, что прикажете.

— Значит, как это называется? Должен предупредить, что мы не прощаем тех, кто не справляется.

— А почему я не справлюсь? — очень серьезно спросил юноша.

Билардо улыбнулся или просто шевельнул губами, чтобы сказать:

— Ладно, если что для тебя будет, я дам знать.

Дни шли своей чередой, но Луисито оставался спокоен. Наконец на большой распродаже племенного скота появился Билардо и велел принести ему оранжада. Это было предлогом для разговора.

— Мы решили тебя испытать,— сказал он.

— Жду приказаний.

— Ружье у тебя имеется?

Луисито с трудом пролепетал «нет».

— Надо купить.

Может, у него не хватит денег, но за этим дело не станет, и он ответил: — Хорошо.

— Значит, как это называется? Возьмешь на себя старика. Тут, конечно, лучше держать ухо востро. Улавливаешь?

— Улавливаю.

— У старика ружье имеется?

— У какого старика?

— Ценю осторожность, но учти — ты начинаешь меня утомлять. У Медины ружье имеется или нет?

— По-моему, да. В юные годы, как мне говорили, он любил охотиться.

— Тогда тебе лучше хлопнуть его из того же ружья. Как ты ладишь со стариком?

— Прекрасно, а что?

— Тем лучше, тем лучше. Значит, как это называется? Как ты его шлепнешь, меня не интересует. Только чтоб из ружья, пусть знают, что это дело рук общества,— больше будут бояться. Но ружье возьмешь не свое, а дона Леопольдо, иначе догадаются, что это ты, и тебя сразу поймают. Понял?

Луисито хотел было спросить, правильно ли он понял, но сообразил, что лучше промолчать. Вот останется один и тогда тщательно во всем разберется.

— Конечно.

— Если, на беду, тебя поймают, жди нашей помощи, только про нас не болтай, а то сам знаешь, что будет. Когда станет ясно, что тебя не поймают, за это пустяковое дело получишь — хоть ты только и начинаешь — свое вознаграждение. Да такое, что сразу разбогатеешь, смекай! А теперь дуй отсюда, а то еще меня с тобой увидят.

В тот вечер у него не нашлось времени подумать. День выдался до того утомительный, что за ужином у потухшего очага глаза его то и дело слипались, и ему даже приснились Билардо и дон Леопольдо. Он знал, что должен делать, а потому не тревожился — оставалось только найти лучший способ, и для этого завтра вечером он все хорошенько прикинет. Приняв решение, он со спокойным сердцем улегся спать на какой-то попоне.

Следующий день принес новые заботы, а вечером, когда Луисито мыл в тазу руки, ноги и шею (мать велела ему всегда делать это перед ужином), его вызвал дон Леопольдо.

— Я еду в Эдину к Милесу,— сообщил он, набивая сигарету с ловкостью, которая показалась Луисито бесподобной.— Мне нужен добровольный помощник, чтобы открывал четырнадцать калиток между загонами по пути туда и обратно. Так что отправишься со мной.

— Как прикажете.

— Поедем на машине. А знаешь, этот проходимец, кото-

рый выдает себя за скупщика, заявился ко мне на таком же «рэгби», как мой. Мне даже не по себе стало — все думалось, а не у меня ли он украл. Лезь на заднее сиденье, передняя дверь плохо закрывается, а ты из-за этих калиток будешь скакать, как блоха на аркане.

Луисито понял не все, но подумал: «Нехорошее сравнение».

— Убрать это отсюда?

Сиденье было завалено гаечными ключами и прочим инструментом.

— Делай что хочешь.

Сперва он немного отодвинул инструменты, но поскольку те прыгали на ухабах, сложил их на пол.

Было полнолуние. Луисито разглядывал дона Леопольдо: у того на затылке редели волосы, а шею бороздили линии, которые скорее бывают у человека на ладони. Дон Леопольдо хорошо платил, не скупился на еду, да и работа была не бей лежачего. Конечно, дон Леопольдо раскрывал рот, только чтобы отругать, но разве на это стоило обращать внимание? Все взрослые, привыкшие командовать, одинаковы.

Как приехали, Луисито остался ждать в машине, и ему приснился очень тревожный сон, которого он не помнил. Наверняка глупости.

Когда тронулись в обратный путь, хозяин сообщил: — Милес — замечательный человек, и я хотел предупредить его о нашем друге скупщике, ведь он из людей Билардо. Этим все сказано. Мерзавец.

Из преданности обществу взаимопомощи Луисито обиделся. «Лучше бы он меня не задевал. Хуже того — ночью, да еще подставляет затылок, когда у меня в руке гаечный ключ».

Момент был подходящий, будто нарочно подстроили. Никто не знал, что он поехал с хозяином. Никто его не видел. На всем пути им не встретилась ни одна живая душа. Довольно одного удара в затылок — и бегом отсюда. Рафаэля и кордовца, известных своим крепким сном, он даже при всем желании не разбудит. Никаких компромети-

рующих следов или повода для подозрений. Билардо останется доволен.

Так он фантазировал, ибо совсем не собирался нападать на дона Леопольдо. Его мать необычайно уважала этого человека, а сам Луисито, когда слышал от них «мой кум» и «моя кума», переполнялся гордостью. «Убей я его, к несчастью,— подумал он,— избавиться от угрызений совести было бы не так просто. Тогда всякий раз, как кто-то набивает сигарету, мне тут же виделся бы усопший».

В этот момент «усопший» произнес: — Если честные люди не действуют сообща, мерзавцы распоясываются. Пусть лучше этот Билардо не показывается на следующем аукционе — не то я попрошу тебя вытолкать его вон, прямо верхом на лошади.

Приехали. Луисито сошел у торгово-ярмарочных построек, а хозяин проследовал к себе домой.

На другой день вечером Луисито пошел в город без провожатых. Через витрину кафе он приметил в зале Билардо и отважился войти. Добравшись до стойки, заказал рюмку водки и медленно выпил. Какое-то время спустя, не уверенный, что Билардо его видел, он подумал, не лучше ли будет подойти к столику. Пока он соображал, совсем рядом послышался негромкий голос Билардо, который приказывал ему, еле сдерживая раздражение: — Вон там, посреди площади на скамейке. Я приду.

Сперва юноше показалось, что ему крикнули «вон!», как собаке. Поразмыслив, он понял, что это не так, что Билардо просто сказал ему — хоть и со злобой — подождать снаружи, на площади.

Луисито заплатил и вышел. К счастью, на площади никого не было. Он выбрал скамейку перед памятником герою-освободителю. От нечего делать принялся разглядывать ухоженные клумбы, бетонированные дорожки, ведущие к памятнику, молодые деревца. Невольно кутаясь в коротковатую легкую куртку, съежился и подумал, до чего сильно чувствуется холод на открытом месте. Он то и дело клевал носом, пока не пришел Билардо.

— Значит, как это называется? Искал меня? Хочется верить, что ты не убрал старика.

— Я знал, что вы хорошо к этому отнесетесь. Что мы с вами без труда поймем друг друга.

— К чему хорошо отнесусь?

— К тому, что я его не убрал.

Билардо заговорил очень медленно: — Учти, как уберешь его, здесь у нас четкий уговор — рядом со мной не показывайся.— И быстро добавил: — Когда сделаешь? — Я не могу убить его, сеньор,— ответил Луисито.— Я не могу убить дона Леопольдо и вообще никого.

— Кажется, мы с тобой так не договаривались. Я тебя предупреждал.

— Знаете, сеньор, делать кое-какие вещи не в нашей власти.

— Как ты смеешь говорить со мной таким тоном?

— Если бы я выполнил ваше поручение, а теперь сказал бы, что не могу, то поступил бы как обманщик. Вы бы сами укоряли меня: «Лучше бы ты этого не делал».

— Значит, как это называется?

— К тому же есть, должно быть, множество пустяковых дел, для которых я могу сгодиться.

— Значит, как это называется? — настойчиво повторил Билардо.— Ты с кем-нибудь говорил обо мне, об обществе или о моем поручении?

— Нет, сеньор. Я же вам сказал, для каких дел не гожусь. В остальном на меня можно положиться.

— Еще не знаю, простим ли мы тебя. Я подумаю.

— Но если что подвернется, сеньор, вы обо мне вспомните?

— Там видно будет.

Жизнь Луисито ничуть не изменилась: работы было немного, разве что иногда по воскресеньям, когда устраивалась ярмарка. Он был уверен, что в конце концов Билардо позовет его. Так оно и случилось.

Однажды под вечер, чтобы убить время, он поднялся на мельницу смазать механизм. С башни увидел «гудзон»

Билардо (теперь он разбирался в марках автомобилей), который ехал с приглушенным двигателем, медленно-медленно. Билардо вышел, огляделся вокруг и знаком велел подойти к ограде.— Дадим тебе еще один шанс,— сказал он.

— Жду приказаний.

— И заруби себе на носу: каждый шанс — это испытание. Тем, кто не справляется дважды, прощения не бывает.

— Я справлюсь.

— Значит, как это называется? Меня не хотели слушать, когда я предложил дать тебе еще один шанс. Надеюсь, мне не придется краснеть за тебя перед остальными. Задание очень деликатное.

— Убивать не понадобится, сеньор Билардо?

— Убивать, убивать. Да ты что это себе вообразил? Что у такого общества, как наше, нет других задач? Запомни хорошенько: такого больше не будет. Это дело прошлое. Я собираюсь поручить тебе доставку одного письма в Росарио.

— В Росарио? — спросил он шепотом.— Когда вам будет угодно.

— Запомни хорошенько: письмо это настолько важное, что мы не хотим отправлять его почтой. Не потеряй его и смотри, чтоб не вытащили. При доставке строго следуй инструкциям, которые я тебе дам. Ну что?

— Идет.

— В пятницу 27 марта в 12.30 явишься на улицу Жужуй, № 2797, в городе Росарио и отдашь письмо. Убедительно прошу явиться точно в это время, ни минутой раньше или позже — иначе будешь обстрелян.

— Обстрелян?

— Что, уже не нравится?

— Но ведь... нет, как раз наоборот! Главное — прийти вовремя.

— Вот именно, как поезд. Наш корреспондент, то есть Пюзо...

— Не понимаю, сеньор.

— И все же я говорю обычным языком. Пюзо, человек,

которому ты отвезешь мое письмецо, оказался в довольно гнусном положении, ему приходится скрываться, и бьюсь об заклад, что при стуке в дверь он изрешетит каждого, ведь человек предпочитает — всю жизнь! — убивать, нежели быть убитым, разве не так?

— Всю жизнь.

— Я специально позвонил ему, чтобы сообщить о твоем приезде в пятницу, ровно в 12.30.

— Спасибо.

— Лучше благодари наше общество, которое снова оказало тебе доверие. В первый раз ты не справился, так что сейчас мы не станем оплачивать твои расходы. По возвращении — если все выполнишь и вернешься — рассчитаемся.

— Что до меня, то я согласен.

— И правильно делаешь,— ответил Билардо, потом церемонно прибавил: — Доверяю письмо в твои руки.

Юноша опустил его в карман штанов и сказал: — Не беспокойтесь.

Когда Билардо уехал, Луисито изучил конверт. По внешнему виду никто бы не подумал, что его посылает солидное общество. Забыли написать имя получателя и имя отправителя. Даже слова «Росарио» не было. Только улица и номер дома. Хуже того, на конверт намазали столько клейстера, что все перекосилось. Сестра, та, что окончила учительские курсы, велела бы им переделать заново.

«Нынче вторник,— подумал Луисито.— Времени еще много, но лучше сказать хозяину как можно раньше, что мне надо уехать». Он вернулся в дом и сообщил об этом дону Леопольдо. Тот ответил: — Езжай когда хочешь. Но сначала, понятное дело, предупреди донью Филомену.

Последнюю фразу он произнес неторопливо, точно размышляя вслух.

— Хорошо, сеньор.

— И без ворожбы ясно, что ведет тебя в Росарио.

Луисито растерялся и наконец спросил: — Вы уже знаете?

— Мечта разбогатеть не работая и найти женщин. Это

ясно и без ворожбы, но лишь чародейство может спасти тебя от подстерегающих там опасностей.

— Я буду обратно в субботу, когда пригонят скот для ярмарки.

Хозяин рассердился: — Господин со дня на день уезжает, но мне нечего беспокоиться, ведь он будет обратно в субботу. Нет уж, голубчик. Ошибаетесь. Здесь я командую, а не вы, ясно? Сегодня переночуешь, как обычно, в бараке, а завтра с утра зайдешь ко мне в кабинет. Запомни, что ты уходишь и больше ноги твоей не будет в моем доме.

Луисито не предполагал, что дон Леопольдо так рассердится. Поужинал он без аппетита, а после подумал, что ему уже не заснуть. С горькой обидой сказал он себе: «Надо же, а ведь я спас его, не заботясь о том, что может случиться со мной».

Когда юноша явился в кабинет (он охотно ушел бы не простившись), дон Леопольдо выдал ему полное жалованье, словно тот проработал весь месяц, и спросил: — Где остановишься в Росарио?

— Наверное, у тети Рехины.

— Хорошая мысль. Но сначала зайди на ферму и предупреди мою куму. Не забудь, ладно?

И жестом указал на дверь. Луисито подумал: «Разве поймешь тех, кто командует?» В коридоре к нему подошла толстая барышня, Мария Кармен, заглянула в глаза и прошептала: — Надеюсь, вы вернетесь.

Когда он был на полпути к ферме, его подсадил в машину хозяин соседней усадьбы. Так что ему повезло, и он приехал к обеду.

Матери он сказал: — Дон Леопольдо просил передать, что завтра я еду в Росарио по делам.

— Вышло по-твоему. Поздравляю, но послушай, что говорит тебе мать: будь осторожен. Учти, ты попадешь прямо в волчье логово.

— Не беспокойтесь.

— Сразу, как приедешь, иди к тете Рехине. Там тебе будет хорошо. Твоя тетя — замечательная женщина, у нее

золотое сердце. Только не давай ей гадать тебе на картах.

— Чтобы тетя Рехина предсказала мне судьбу? — спросил он с удивлением.

— Ей всегда это нравилось, но я не хочу, чтобы кто-либо выведывал, что ждет моих детей в будущем.

Он провел незабываемый вечер. Никогда еще он так не веселился и не был в таком ладу со своими братьями и сестрами.

В четверг, проснувшись и вспомнив, что наступил великий день поездки в Росарио, Луисито ощутил безмерную радость и — чего он совсем не ожидал — легкую грусть от расставания с людьми и городком. «Это не навсегда»,— сказал он себе в утешение. В прошлый раз, уезжая из дому, он и не думал печалиться.

— Захватишь кое-что для тети Рехины. Будь особенно аккуратен с этим пакетом: здесь яйца.

Еще мать дала ему курицу, цыпленка и живую индейку.

— Возьму, что прикажете, мама, но как же я поеду со всем этим?

— Не волнуйся. Заходил турок Саладино и сказал, что собирается за товаром в Росарио. Я уговорила его взять тебя с собой.

Прозванный турком-жуликом, Саладино начинал с торговли вразнос и исходил округу вдоль и поперек с висевшим на шее лотком галантереи, бус, гребней и мыла. Теперь же, после покупки грузовичка «форд», он расширил район торговли и ассортимент.

Путь до Росарио занял большую часть дня.

Чтобы не молчать, Луисито заметил: — Мне сказали, что вы едете в Росарио за новым товаром.

— Сеньор Кориа, мое дело,— турок нежно похлопал по машине,— никогда не стоит на месте. Оно как прогресс, который идет и идет вперед. Я сын своей страны и не знаю усталости. Мой лозунг: «Всегда готов к любому порученьицу». Скажем, беру на себя обязанности гонца.

— Гонца?

— Девушкам я лучший друг, потому что вожу туда-сюда

записочки, которыми они обмениваются со своими кавалерами. Или взять, к примеру, что вам самому понадобилось отправить очень важное письмо. Незачем бросать его в почтовый ящик или раскошеливаться на поездку — отдайте письмо бедному турку и умывайте руки.

Луисито пощупал карман, дабы убедиться, что письмо еще лежит на месте.

Они въехали в город, и Луисито смотрел вокруг с затаенным изумлением. Вскоре грузовичок остановился у какого-то дома.

— Это здесь? — спросил юноша.

Голова у него немного кружилась.

— Здесь,— произнес Саладино.

Он назвал адрес пансиона, где обычно останавливался.

— Спасибо за все.

— Ищи меня там, если что понадобится, парень, сеньор Кориа.

Луисито, похоже, надоело выслушивать наставления, и он отрезал:

— Я в заботе не нуждаюсь.

— Охотно верю, но ты чуть не забыл яйца и птицу.

Со всем этим грузом предстал он перед тетей, которая сказала ему: — Ты — Луисито. Последний раз, когда я тебя видела, ты был метр ростом.

Луисито подумал, что никогда еще не бывал в таком красивом доме. Тетя провела его в убранную коврами гостиную, где находились стол на трех ножках, фигурки женщин, рыболовов, баранов, львов, расписное полотно в виде ночного неба со звездами, стеклянный шар, картина с полуодетыми девушками, державшими в руках горящие поленья и плясавшими вокруг козла, который неподвижно висел в воздухе и походил скорее на дьявола, и еще одна картина с девушкой, спящей посреди леса, и еще одна с черным псом, которая очень ему понравилась.

Тетя спросила: — Чего бы тебе хотелось на ужин? Ведь ты останешься ужинать.

— Мама сказала...

— Еще успеешь об этом рассказать. Так что бы ты предпочел сегодня? Цыпленка или курицу?

— Как вам угодно.

— Для такого случая, думаю, больше подходит курица. В субботу утром опою индюшку, вечером ее зарежу, а в воскресенье в полдень мы ее съедим. Тебе нравится Росарио?

Луисито хотел было сказать, что в воскресенье уже уедет, но последние слова целиком привлекли его внимание.

— Мне понравились трамваи.

Тетя произнесла, словно думая о чем-то другом: — На трамвае ты поедешь сегодня вечером.— Зачем? — спросил он.

— Еще узнаешь. Помоги мне поставить котел на огонь. Теперь подвинь скамеечку, и я погадаю тебе на картах.— Она разложила колоду на кухонном столе и принялась объяснять: — Здесь есть люди, любящие тебя, и люди, которые на тебя сердятся.

Луис подтвердил: — Это дон Леопольдо.

— Я вижу гору оружия и гонца.

— Это турок Саладино,— пояснил Луисито.

— Может быть, но карты говорят другое. Гонец — это ты, и ты везешь послание.

— Откуда вы знаете? — И тут же хитро спросил: — Это вам сеньор Билардо сказал?

— Человека этого я знаю лишь понаслышке — и слава богу, верно? Нет, мне это говорит валет и, что еще хуже, пиковой масти. Я вижу также толстую девушку, блондинку. Ты на ней женишься. А вот ты во главе общества, в которое попал по незнанию.

— Нет, не во главе; но то, что я ничего не знаю об этом обществе,— сущая правда. А с толстой девушкой я в самом деле не знаком.

— Ну, на сегодня хватит, ведь тут столько всего, что если говорить для твоей пользы, то надо сперва подумать.

— А когда вы подумаете?

— Еще успею. У нас впереди длинная ночь, так что не волнуйся.

В положенное время они съели курицу. Затем тетя Рехина попросила, чтобы он подождал минуточку, пока она будет говорить по телефону, а когда вернулась, объявила: — Переночуешь в аптеке у одной сеньоры, моей подруги. Там тебе будет хорошо.

— Мама сказала, чтобы я остался у вас.

— Там тебе будет не хуже, чем у меня, но намного безопаснее, понимаешь? С комиссаром полиции мы друзья (неужели ты думаешь, что я не угощу его цыпленком, которого ты привез?), но на этих людей нельзя положиться. Видно, хотят лишний раз показать, что они здесь командуют, и когда я меньше всего этого жду, заявляются ко мне и всех волокут в участок. Через какое-то время меня проводят в кабинет к комиссару, который приносит извинения за это беззаконие, совершенное по ошибке. Я никогда не смогу простить себе, если по моей вине сын Филомены узнает, что такое тюрьма. Идем, я посажу тебя на трамвай. Путь предстоит неблизкий, а та сеньора, наверное, ждет тебя не дождется, чтобы уйти домой.

— Она там не живет?

— Нет. Тебе не хочется оставаться одному?

— Мне не хотелось бы проспать завтрашнее утро.

Тетя пошла в соседнюю комнату и вернулась с будильником.

— Возьмешь с собой.

— Не стоило беспокоиться.

— Поставишь на ночном столике, на случай если тебе вздумается узнать время. Ходит он хорошо, только звонок иногда не работает. Но увидишь — завтра он прозвенит.

Это заверение тети успокоило его. Он ответил: — Поставлю его на семь, хотя к этому времени уже сам проснусь. Я всегда просыпаюсь рано.

Они вышли из дому и прошагали до угла.

— Сеньора сказала, что устроит тебя на верхнем этаже аптеки. Будешь там как настоящий господин, с отдельным входом. А сейчас садись на пятый трамвай. Посмотри, где у него нарисован номер. Выслушай хорошенько, что я тебе

скажу: попросишь кондуктора, чтобы предупредил, когда будет угол Митре и Сан-Лоренсо. Там сойдешь и пересядешь на восьмой трамвай. Скажешь кондуктору, что тебе нужен проспект Лусеро, не доезжая квартала до бойни Свифта. Там сойдешь и сразу увидишь аптеку. Это в самом центре Саладильо.

Ему никогда не забыть то нескончаемое путешествие по Росарио. Возможно, потому, что он ехал один и не должен был изображать безразличие (как по приезде, с турком), Луисито с удовольствием разглядывал все новое и необычное, что привлекало его внимание. Не однажды за время своего первого путешествия на пятом и восьмом трамваях он подумал: «Расскажу об этом братьям, сестрам, Рафаэлю и Флоресу». Он проезжал мимо высоких темных зданий с остроконечными шпилями и громоотводами (зданий, которых не увидит больше, точно они приснились ему). У него даже возникло ощущение, что вовсе не на грузовичке турка, а на этих двух трамваях он въехал в город. Он ехал сидя, как обычный пассажир, с будильником на коленях и с ошеломляющей уверенностью, что участвует в знаменательных событиях. Когда придет час рассказать о них, понадобится особая осторожность, а то еще назовут обманщиком.

В аптеке его ждали хозяйка и ее дочь, одетые в пальто. Он помог опустить железную штору и последовал за ними через боковую дверь по крутой лестнице до склада товаров на верхнем этаже, где пахло душистым мылом.

Хозяйка извинилась: — Надеюсь, тебе не будет слишком неудобно. Мы поставили кровать рядом с дверью, и тебе не придется вставать, чтобы зажечь свет. Чуть повернулся — и зажег, снова повернулся — и погасил. Там маленькая уборная.

Хозяйка была немолодая, но дородная, белокурая, розовощекая и очень бойкая. Ее дочь, бледная и нескладная, правда, с красивыми волосами, как у хозяйки, напоминала ему одну барышню, которую он видел неизвестно где, может, на какой-нибудь картинке.

Девушка сказала: — Мы открываем в восемь, но вы из-за нас не беспокойтесь: если захотите, можете спать дальше.

Хозяйка объяснила: — Если завтра проснешься голодный, делай, как я тебе скажу. Когда выйдешь, иди направо, на углу снова поверни направо и в двух шагах увидишь молочное кафе, где тебе подадут приличный завтрак. Туда ходят многие с бойни, так что можешь быть спокоен.

Он проводил их до двери на улицу. Хозяйка дала ему ключ.

Луисито взбежал вверх по лестнице. Никогда еще не было у него отдельной комнаты, никогда не жил он среди такого удобства и роскоши. Два или три раза он включил и выключил свет, чтобы проверить и доставить себе удовольствие. Посмотрел, что стоит на полках, и даже прочитал, разумеется с трудом, этикетки «Фиброля», тонизирующих и кровоочистительных средств, «Сенегина» от кашля, «Сарголя» для увеличения веса, «Жироламо Паглиано», крема «Салатный», пудры и духов «Блондинка», «Черные глаза», «Скажи мне «да», «Куколка», «Первый поцелуй», над которыми призадумался; но поскольку не годилось проспать завтрашнее утро и опоздать с доставкой письма, он не стал терять время. Завел будильник на семь часов и поставил его на ящик с надписью «Кто пьет «Седоброль», тот крепко спит», который придвинул к кровати. Ему показалось, что от ящика исходит странный, но не противный запах — может быть, супа, но такого, что сварили из трав для лечения больных. Привлеченный шумом, доносившимся с улицы, он припал к окошку. «Сколько народу,— прошептал юноша.— Сразу видно, что горожанин не спит ночью». Перед тем как погасить свет, взглянул на часы — те показывали тридцать семь минут одиннадцатого. Луисито покорно лег; ему так не хотелось, чтобы этот чудесный день кончался, но, поразмыслив, он решил, что следующий принесет ему новые радости.

Проснулся он уверенный, что проспал всю ночь одним махом. Включил свет и, дабы использовать часы по назначению, посмотрел время. Было пять минут двенадцатого.

Он спал неполных тридцать минут. Усталости он не чувствовал и был всецело готов подняться и начать новый день, но поскольку других дел, кроме как ждать семи часов, не предвиделось, такая бодрость не обрадовала его. Он испугался, что ночь будет слишком длинной.

Через какое-то время он уснул и тотчас проснулся. Так он по меньшей мере полагал: сон вроде бы длился не больше короткой дремы. «Что это со мной сегодня? — удивился он.— То и дело просыпаюсь». Ему показалось, что секундная стрелка очень громко стучит. Он зажег свет. Было двадцать минут шестого — дрема продолжалась больше шести часов. Он снова погасил свет и, должно быть, уснул, потому что увидел тетю Рехину с лентой в волосах, украшенной бриллиантом или стеклом в форме звезды, и в темном платье с ярко-красными разводами. Тетя смотрела на него очень серьезно своими огромными черными глазами, точно такими же, какие были нарисованы на этикетке коробки с пудрой. Она наклонилась к нему и, как бы извиняясь, сообщила: — Я думала, что ты можешь встать, но тебе придется поспать еще.

Проснувшись (много позже, если верить ощущениям), он повернулся в поисках окна, уверенный, что дневной свет уже пробивается сквозь щели. Увидел лишь темноту и подумал: «Я еще плохо знаю комнату и не могу ориентироваться». И все же с первого раза нащупал выключатель и не успел зажечь свет, как сразу нашел окно там, где искал его раньше. Посмотрел на часы. Было тридцать четыре минуты третьего. «Значит, в последний раз я плохо посмотрел»,— заключил он. Чтобы окончательно проснуться и избежать новых ошибок, пошел в уборную. Вернулся в кровать в тридцать семь минут третьего. Отметил про себя: «Теперь я хоть знаю, что все правильно». Он не стал особо тревожиться из-за странных происшествий этой ночи — не привык ломать себе голову — и очень скоро погрузился в сон. Он столько раз просыпался и ходил в уборную, что сбился со счету; знал только, что это было неоднократно и что слабость и жажда нарастали. В послед-

ний из этих походов, точнее сказать — в предпоследний, на обратном пути у него закружилась голова, и он упал на пол. Когда ему удалось доползти до кровати и зажечь свет, он увидел словно во сне, что стрелки часов показывают тридцать четыре минуты третьего. Подумал, что часы могли в какой-то момент остановиться. На самом деле он был уверен, что секундная стрелка не унималась в течение всей ночи. Вероятно, он заснул, потому что снова появилась тетя Рехина и объяснила ему (он почти ничего не запомнил) про камень, который сиял у нее на лбу: это была звезда. Тетя улыбнулась и сказала: — Теперь можешь вставать.

Во время сна он чувствовал себя как нельзя лучше, но только проснулся, ощутил боль во всем теле, особенно в животе, невообразимую усталость, точно был нездоров, и сильную жажду. Подняться с постели стоило ему невероятных усилий. По пути в уборную его прошиб холодный пот, голова закружилась. Опершись на раковину, он сполоснул лицо водой и жадно напился. Он был так растерян и утомлен, что, как рассказывал позднее, «ничуть не удивился, заметив на подбородке сильно выросшую щетину». Он смочил руки, шею и при первой же попытке вымыть ноги не устоял, упал, ударился так сильно, что только смог засмеяться. Наконец ему удалось одеться, и после половины девятого он торопливо — поскольку начинал понимать, что в животе болит от голода,— но с большими предосторожностями, чтобы не покатиться с лестницы, спустился на улицу. Аптека была закрыта. Он усмехнулся: «Хорошо же они открывают в восемь». Вспомнив наставления аптекарши, пошел направо. Почти все магазины были закрыты. Он подумал: «Еще мама говорила, что горожанин любит поспать». На углу повернул направо, купил газету (потом он вспомнит, что, взяв ее в руки, подумал: «Здесь у них больше страниц») и спросил: — Газетчик, я правильно иду в кафе?

Кафе он увидел раньше, чем тот успел показать,— они стояли у дверей. Кое-как пройдя последние четыре или пять метров, он вошел, плюхнулся на стул, облокотился

на мраморный стол. Когда появился официант, заказал кофе с молоком, булочки и пирожки. Кофе принесли до того горячий, что понадобилось ждать (даже мате он любил еле теплый, иначе обжигался). Измученный невероятной слабостью, Луисито съел булочки и пирожки, а кофе с молоком пришлось выпить прихлебывая. С большей уверенностью в голосе он потребовал: — Еще раз то же самое, пожалуйста.

Себе он сказал, что теперь, попав наконец в город, станет вести шикарную жизнь и что будет ждать свой кофе как ни в чем не бывало, просматривая газету, точно господин. Он обратил внимание на спортивную страницу и позже восхищенно заметил: «Вот у кого шикарная жизнь, так это у горожанина. Даже в будни есть скачки и футбол».

Принесли вторую порцию. Луисито подумал: «Надо бы растянуть и не набрасываться с такой жадностью». С едой расправился быстро. Поскольку заказывать третью порцию было бы, пожалуй, слишком неприлично, он вернулся к чтению в надежде, что через какое-то время поймет, действительно ли еще голоден. Закончив спортивную страницу, он перешел к полицейской хронике и уже собирался отложить газету, когда несколько строк привлекли его внимание. Потребовалось усилие, чтобы разобраться: «В пятницу 27-го числа в 12.30 пополудни наряд полиции под началом инспектора Темпоне прибыл к жилому дому № 2797 по улице Жужуй. Словно этого визита ждали, дверь немедленно отворилась, в нее просунулось винтовочное дуло и по блюстителям порядка были произведены два выстрела, но быстрый маневр позволил открыть ответный огонь, который и сразил нападавшего. Им оказался небезызвестный гангстер М. Пюзо с богатым уголовным прошлым, имевший тесные связи с преступным миром районов, прилегающих к провинции Кордова».

Он непроизвольно перевел взгляд к верхнему углу страницы и прочитал, точно в бреду: «Росарио, воскресенье, 29 марта 1930 г.». Он ничего не понимал. Вернулся к сообщению внизу и, прочитав заново слова «пятница 27-е», «Жужуй,

2797» и имя убитого, ощутил, что проваливается в какую-то пустоту. Вдруг он все ясно увидел и понял, что случилось невероятное: здесь, в раскрытой перед ним газете печатными буквами указывался день, час и место доставки письма сеньора Билардо, а также имя получателя, ныне покойного. Луисито вслух подумал: «Я виноват в его смерти. На этот раз никто меня не спасет». Его бросило в дрожь, но, не привыкший унывать, он сообразил: «Разве что тетя». И, заплатив, вышел.

Газетчика он спросил: — На каком трамвае (он сказал «трамвайчике») я доеду до угла Бучанана и проспекта Альберди?

— На восьмом. Сядете тут рядом на проспекте Лусеро и езжайте до угла Митре и Сан-Лоренсо, а там садитесь на пятый.

Когда с объяснениями было покончено, Луисито на всякий случай обронил второй вопрос: — Скажите, какой сегодня день?

Человек сощурил глаза и рассмотрел его вблизи.

— Именно тот, что напечатан на каждой странице этой газеты. Вот ведь совпадение, правда?

Луисито направился к проспекту Лусеро, чтобы сесть на восьмой трамвай. Покачав головой, заметил: «С ума сойти можно. Проспать два дня и три ночи кряду, совсем без еды. Еще бы не проголодаться».

Трамвай не замедлил появиться. Луисито устроился на сиденье, заплатил за билет и прочитал надпись под потолком: «Вместимость: 38 сидящих пассажиров». Подумал, что он один из этих пассажиров и что какой бы сложной ни была ситуация, поездку надо использовать получше, ведь «кто знает, сколько придется ждать следующего раза». Еще он сказал себе: «Я должен вернуться в городок и успокоить недовольных. Сдается мне, что и дон Леопольдо — потому что я вернулся, и сеньор Билардо — потому что я не справился, оба будут здорово сердиться. Обидно покидать Росарио».

Занятый этими мыслями, добрался он до тетиного дома.

— Я ждала тебя на индейку.

— Как вы угадали, что я приду?

Тетя пожала плечами.— Закатим пир горой,— сказала она.

И ушла в кухню. Луисито, не трогаясь с места, серьезно ответил:

— Извините меня, пожалуйста. Мне не хочется.

Из кухни тетя спросила: — Что с тобой?

— Я должен был передать письмо.

— Валет пиковой масти.

— Да нет же, письмо собственноручно написано одним господином, который мне его доверил. Но письма я не передал — какой позор! Я проспал.

— Раз проспал, значит, наверное, так было нужно.

— Тетя, вы ничего не понимаете. Один человек открыл дверь, так как думал, что это я постучался, и его убили.

— Ты чувствуешь себя виноватым? Пожалуй, ты прав, ведь постучись тогда ты, убили бы другого.

— Что вы говорите, тетя?

— Что сказано в письме?

— Откуда же мне знать?

— Вскрой конверт и прочти. Или у тебя нет письма?

— Есть. Но оно не мне, а тому человеку, который умер.

— Послушай, какое умершему дело, если мы прочитаем его письмо?

— Разве так можно делать, тетя?

— Сейчас же надорви конверт и покажи мне, что ты умеешь читать.

Луисито надорвал конверт, развернул бумагу и застыл в молчании. Наконец он произнес: — Не могу.

— Как это «не могу»? Теперь выясняется, что ты не умеешь читать.

— Дело не в этом.— Он вошел в кухню и показал бумагу.— Здесь ничего не написано.— Будь добр, объясни мне, пожалуйста, зачем им понадобилось посылать тебя специально в Росарио с чистым листом бумаги?

— Мне самому хотелось бы это знать.

— Этот Билардо любит шутки?

— Билардо поручил мне передать письмо в пятницу в половине первого. Сдается мне, что это была не шутка. Не знаю, читали ли вы в полицейских новостях в газете о происшествии в пятницу как раз в это время. Хорошо еще, что я проспал.

— Тебя спасла твоя счастливая звезда.

Впервые за это утро Луисито улыбнулся.

— Я готов вам поверить. Сказать вам одну вещь? Как только я хотел проснуться, вы являлись ко мне во сне и говорили: «Тебе придется поспать еще». Но это не все: на лбу у вас была звезда из камня. Думаю, меня спасли именно вы.

— Важно, что ты здесь, целый и невредимый. Отметим это индейкой.

— Простите, но мне надо идти.

— Говоришь, что я тебя спасла, а теперь бросаешь меня одну с кучей еды. Какая неблагодарность!

— Тетя, вы ничего не понимаете. Если я не вернусь, кто скажет Билардо, что я от него не прячусь?

— Ты сам ничего не понимаешь. Можешь возвращаться, но его ты не увидишь. Он арестован. Неужели ты явишься в полицейский участок, чтобы тебя схватили? Ведь если ты станешь его искать, заподозрят, что у тебя были какие-то делишки с этими мерзкими злодеями.

— Так что же мне делать? — Останешься в Росарио.

Луис на минуту задумался и ответил: — Если так, я с удовольствием составлю вам компанию для индейки.

Донья Рехина не раз объясняла мне, что карты не обманули: гора оружия обернулась воинской службой, на которую тогда призвали Луиса; обществом, для которого он не был подготовлен, оказалась аптека, где он работал, весьма путаясь поначалу в лекарствах, рецептах, квитанциях и сдаче, а толстой девушкой, как вы уже догадались,— дочь аптекарши, которая, выйдя за него замуж, вскоре превратилась в молодую мать семейства, обаятельную и дородную.

Герой женщин

Это случилось в сорок втором или сорок третьем году. Помню только, что инженер Лартиге приехал в конце мая и что год был дождливый. Поля — я бы не сказал, что местность у нас низкая, скорее, она ровная — слились в одно болото, простиравшееся до самого горизонта; сплошное море грязи или, если хотите, грязевой остров. Так прочно были мы отрезаны от мира, что к нам не добирались даже странствующие торговцы.

Мы объезжали поля, но работать могли лишь под навесом; значит, времени было предостаточно, чтобы подумать о надвигавшейся долгой зиме. Будущее рисовалось в мрачных красках, и, чтобы отвлечься, мы почти ежедневно собирались в лавке, невзирая на холод и дождь. Нас почему-то согревала встреча с друзьями и знакомыми, попавшими в такую же беду. А может, нас согревал джин, как ехидничали женщины. Кто лучше их умеет сеять черную клевету? Когда один из нас шлепался в грязь, они уверяли, что виною тому не скользкая глина, а лишний стаканчик.

Кажется, будто все было вчера, а ведь с тех пор прошло больше двадцати лет; не доказывает ли это верность одного — или, пожалуй, еще одного? — высказывания инженера Лартиге? Инженер (инженерик, говорили мы у него за спиной) появился среди нас в те дни, когда сюда не залетал никто, кроме водоплавающих птиц. Он приехал из Буэнос-Айреса с чемоданами, полными книг, и с непереваренными теориями в голове, но в лавке Констансио — дощатом сарае посреди чистого поля,— в кругу местных жителей, встревоженных дождями, состоянием дел и близкой зимой или осоловевших от джина, теории эти звучали странно и даже неуместно. В один из таких вечеров инженер заявил:

— Время идет не всегда одинаково. Одна ночь может быть короче другой, в которой столько же часов. Кто мне

не верит, пусть спросит у аптекаря из Росарио по фамилии Кориа. И это еще не все: иногда настоящее — стоит только зазеваться — смыкается с прошлым, а то и с будущим. Это подтверждают достоверные рассказы многих ясновидцев.

Подобные заявления вызывают у окружающих недоумение и недовольство, ибо они не понимают, зачем все это говорится и как это принимать. Старый Панисса, известный своей проницательностью, выразил общее мнение в словах: — Самонадеянный, однако, юнец.

И все же по прошествии долгого времени другой участник той беседы — человек, пользующийся заслуженным уважением, теперь почти старик,— вспоминая о ней, признавался: — Я знаю по опыту, что порой, когда я пытаюсь вспомнить лицо Лауры, оно как бы расплывается перед глазами и кажется очень далеким, но вдруг ни с того ни с сего я вижу ее во сне так ясно и живо, словно только что был с ней. Или это тут ни при чем? Может статься, я не понял, о чем говорил Лартиге.

Нельзя отрицать, что инженер приехал к нам какой-то расстроенный. В самый первый раз, появившись в лавке Констансио (или то было у Басано?), он принялся толковать о женщинах. В нашей компании такая тема обсуждалась обычно весело и непринужденно, вспоминались забавные истории, сыпались шутки и остроты. Поэтому долгие и, что еще хуже, серьезные рассуждения поначалу вызвали замешательство, а потом — неудовольствие. Думаю, я выражу чувства моих друзей, если скажу, что все они с надеждой ждали тогда какого-то слова, какого-то знака, которые обратили бы сказанное в шутку. Такого знака не последовало.

Лартиге утверждал, что мужчину и женщину, которые рука об руку идут по этому миру, неизменно разделяет пропасть, и если когда-то они и приходят к согласию, это случается как бы нечаянно, а на самом деле намеренно.

— Нередко бывает, что в то время как мужчина особенно гордится собой, женщине совсем не до веселья.

Предупредив вас заранее, что слушателей не отличала

душевная тонкость, осмелюсь сказать, что их это покоробило. Пожалуй, именно тогда к инженеру прилипло прозвище Щелкун.

Я всегда знал, что однажды расскажу историю, которая сейчас лежит перед вами. Даже у сочинителей фантастических рассказов наступает миг, когда они вдруг понимают, что первейшая обязанность писателя — сохранить для потомков немногие события, немногие места, а главное, немногих людей, которые волею судьбы оставили заметный след в его жизни или хотя бы в памяти. К черту Чертовы острова, сенсорную алхимию, машину времени и магов-кудесников! — говорим мы себе, нетерпеливо уносясь мыслями в тихую провинцию, в скромный городок, в милый сердцу округ к югу от Буэнос-Айреса.

Когда думаешь о подлинной истории, в которой всплывают чудеса, даже не снившиеся дерзким фантазерам, потребность изложить ее на бумаге делается еще настоятельнее. С другой стороны, всем нам интересно обнаружить щель в реальности, казавшейся столь монолитной.

Чтобы рассказать обо всем по порядку, надо начать с Лауры, Вероны, инженера и ягуара. О Лауре я скажу лишь самое необходимое. Стоит дать себе волю, я напишу о ней целую книгу, позабыв обо всем остальном. Дон Николас Верона — пятидесятилетний мужчина, всегда гладко выбритый, с неторопливой походкой, в ярко-белых бриджах, с неизменно чистыми руками — был тогда признанным лидером оппозиции, а также весьма уважаемой личностью в седьмом участке округа, о котором я упомянул чуть выше. Хотя мы знали, что он арендует имение «Пасифика» у какого-то мифического владельца, обитавшего в Париже, для всех нас дон Николас был хозяином этой скромной и нарядной усадьбы (определение «скромная» относится к постройкам, типичным для так называемой сельскохозяйственной усадьбы) и ее весьма почтенных угодий — трех тысяч гектаров низко лежащих, но отнюдь не пустовавших земель. Люди, должным образом осведомленные из достоверных источников, приписывали его перу ораторские шедевры кое-

кого из знаменитых соратников по партии. Как бы там ни было, нам известно, что Верона, человек неординарной образованности, не отступая от убеждений, внушенных ему трудом «Цивилизация и варварство»*, собрал целую библиотечку книг о Кироге** и его битвах против генерала Паса***. Чтобы закончить портрет этого счастливого человека, надо дополнить его одной личной и, пожалуй, самой важной подробностью: рядом с ним была Лаура. Те, кто ее знал, а среди молодых людей — те, кто имел честь посетить архив фотостудии Филипписа в городе Лас-Флорес на авениде Сан-Мартина и видеть ее отретушированный портрет, не дадут затянуться забвением легенде об этой необыкновенной молодой женщине, отмеченной незаурядной красотой, начитанной и изящной, которая, казалось, была рождена блистать не только в окружном центре, но и в Ла-Плате и даже в Буэнос-Айресе, а вместо того без всякой горечи — в отличие от нынешних девушек — избрала иной удел и жила в глуши, в одинокой усадьбе, вместе с серьезным и солидным мужем, предназначенным ей судьбой. Нечего и говорить, что он в своей жене души не чаял.

Как отмечал Верона, Лаура вовсе не была «тепличным цветком». Вскоре после свадьбы, на благотворительном празднике, устроенном Обществом во имя процветания, он вышел победителем на состязаниях по стрельбе в цель. Одержав победу, он предложил ей испробовать свою меткость. Лаура перекрыла все его результаты.

Вернемся к инженеру; бесполезно отрицать, что мы испытывали к нему смешанные чувства. Он хоть и происходил из старинной местной семьи, но получил образование в городе, а чего греха таить, все мы от души желаем, чтобы горожанин поскорее сел в лужу. Кроме того, честно говоря,

* «Цивилизация и варварство» (полное название «Цивилизация и варварство. Жизнь Хуана Факундо Кироги», 1845) — основной труд аргентинского государственного деятеля и писателя Доминго Фаустино Сармьенто (1811—1888).

** Кирога Хуан Факундо (1793—1835) — аргентинский генерал, один из руководителей федералистов.

*** Пас Хосе Мария (1787—1857) — аргентинский генерал-унитарий.

мы уже устали от второсортных, как мы их называли, агрономов и инженеров, которые смотрят на сельского жителя сверху вниз с надменностью, взращенной в них книгами, а все их знания — это сплошная теория, и в будущем она служит им лишь затем, чтобы жить за счет беззащитных сирот и вдов, а если у них есть земля — чтобы разбазаривать наследство, полученное от родителей. Это прискорбное, но знакомое обстоятельство усугублялось еще и тем, что Лартиге был нервным и дерганым юнцом, который беспардонно хвалился, что прочел массу никому не нужных книг, и надоедал людям объяснениями, ему самому непонятными — об относительности всего на свете, о том, что говорилось в одной статейке: дескать, сны иногда бывают пророческими и быстро забываются (а мы и не знали), поэтому лучше записывать их поутру; последнее он выполнял с примерным старанием, обзаведясь тетрадью марки «выпускник», которую почтенные люди видели собственными глазами. Разглагольствовал он также и о некоем дополнительном измерении, в котором сумел укрыться какой-то беглец, быть может преступник; когда опасность миновала, он вернулся назад — точно такой же, только ставший левшой; и о других подобных несуразностях. Для обмена колкостями у Вероны и Лартиге были еще и особые причины: инженер был консерватор, Верона — радикал. В те годы между одними и другими существовала большая неприязнь, и даже ненависть. С другой стороны, дон Николас не мог отрицать, что все Лартиге — он знавал отца инженера, а еще раньше деда — всегда были прекраснейшими людьми, обладали, что называется, золотым сердцем, и наш молодой человек приехал сюда с самыми лучшими намерениями, полный усердия, а это в конце концов что-нибудь да значит. Был еще один пустяк, который в ходе бесед сблизил этих столь разных людей. Очень скоро обнаружилось, что оба неравнодушны к фильмам о покорении Дальнего Запада, обозах и конвоях, или о «cowboys»*, как теперь порой говорят. Дон Николас видел их году в двадцать девятом в Ла-Плате, а Лар-

* ковбоях (*англ.*).

тиге одиннадцать лет спустя в разных залах Буэнос-Айреса, среди которых ему запомнился «Индус». Дон Николас считал непревзойденными фильмы с Томом Миксом и Уильямом Хартом; Лартиге отдавал предпочтение одному более современному, под названием «Дилижанс». Обсудив эту тему, они пришли к джентльменскому соглашению: оба признали, что картины с Уильямом Хартом лучше картин с Томом Миксом, которых Лартиге, в сущности, не помнил или вообще не видел, а Верона дал твердое обещание посмотреть «Дилижанс», как только он пойдет в Лас-Флоресе или в Асуле.

Не думаю, чтобы тайная склонность,— но в сущности, можем ли мы скрывать такие чувства? — которую Лартиге испытывал к Лауре, сердила дона Николаса. Этот немолодой и уверенный в себе человек, разумеется, знал, что многие и прежде и теперь страстно мечтали о его жене, но отнюдь не терял покоя.

Если же говорить о внешности, то Лартиге выглядел человеком другой эпохи; непонятно почему, он казался юношей 1840-х или даже 1800 годов. Одна наша общая знакомая, носившая его изображение в медальоне, сказала: «Среди всей этой молодежи, скроенной на американский лад, он один такой романтичный».

Итак, дон Николас и инженер впервые встретились в магазине Басано, а может быть, в лавке Констансио. У дона Николаса лежал на плечах конский нагрудник — это было удобнее, чем нести его в руках. Нагрудник был из тех, каких теперь уже не делают, и Верона хотел показать его торговцу, может, тот достанет ему пару в шорной мастерской Ариаса или у Касимиро Гомеса. Расположившись у стойки, спиной к входной двери, в окружении завсегдатаев, Лартиге рассуждал и сам расспрашивал о ягуаре, который якобы появился тогда в местах, граничащих на востоке с речушкой Гуаличо и округами Пила и Рауч. Какой интерес говорить о ягуаре этим людям, которые думают лишь о том, сколько чего купить, пустить ли скот на выпас или продать на бойню. Так или иначе, но они поддерживали разговор, потому что

для сельских жителей воспитанность превыше всего. Басилио Хара утверждал, что Чорен видел ягуара возле стен — ныне развалин — бывшей усадьбы Бруно, а также на берегах Большого озера и что однажды под вечер Батис, возвращаясь в двуколке домой, в Мартильо, заприветил (он хотел сказать заприметил) зверя где-то в зарослях травы, кишащих всякой живностью, которые идут широкой полосой вдоль ручья, зажатого в этом месте отвесными берегами.

— Не хочу ни с кем спорить,— настаивал инженер,— и менее всего с Басилио — в этом доме он свой человек, и я всегда слышал о нем столько хорошего. Но не могу отрицать, что существование ягуара вызывает у меня сомнения.

Выпрямившись во весь рост (дверь была низкой, дону Николасу пришлось слегка нагнуться, чтобы войти), Верона спросил: — Поскольку сеньор, не решаясь оспаривать свидетелей, видевших ягуара, все же не верит в него, не будет ли он столь любезен высказать свою точку зрения.— Право, я не знаю, что и думать,— отвечал инженер как ни в чем не бывало.

Стоя против света, с нагрудником на плечах, дон Николас мог показаться явлением грозным и непонятным. Однако тут вновь раздался его ровный голос, словно призванный развеять любой испуг.

— Сеньор подозревает,— продолжал спрашивать он,— что ягуар этот — плод народной фантазии? Нельзя отрицать, что в других округах тоже рассказывают подобные легенды. Вы это имели в виду?

— Мне говорили, что собаку, повадившуюся охотиться на овец, убивают без промедления.

Офицер Бароффио, объединявший в своем лице наши полицейские силы вкупе с их начальством, пояснил:— Собака, привыкшая к свежатине, наносит большой вред.

Плотный светловолосый Бароффио улыбался во весь рот, довольный, что так прекрасно все объяснил.

— А ягуар? — спросил Лартиге.

— Ну, ягуар — это настоящее бедствие.

Дон Николас добродушно улыбнулся.

— Ручаюсь, инженер никого не хочет обижать,— заверил он,— но в глубине души он, бесспорно, уверен, что если мы не сочиняем, значит, нас обманули как младенцев.

Лартиге отрицательно качнул головой. Потом заговорил медленно и словно извиняясь: — Видите ли, я всегда считал, что последний ягуар, водившийся на юге провинции, был убит в 1882 году, недалеко от границы между округами Олаваррия, Боливар и Тапальке. Мальчиком я видел шкуру на стене конторы старого оптового склада в Саусе. Помните этот склад? Вы сами понимаете, когда слышишь, что шестьдесят лет спустя появляется новый ягуар, это кажется непостижимым для человека, твердо верящего в прогресс. Но разумеется, романтик, живущий в моей душе, готов поверить в это безоглядно.

— Чтобы разрешить сомнения, нет ничего лучше, как убедиться во всем самому, пожить несколько дней в тех местах, и тогда сеньор...

Тут инженер назвал свое имя, Верона — свое, и вслед за представлением раздались возгласы, прозвучали пылкие слова, подтверждавшие тесные узы дружбы и взаимного уважения, которые связывали дона Николаса Верону со старшими членами семьи Лартиге.

Казалось бы, этот взрыв благородных чувств изменит курс событий; однако сам Лартиге, одержимый навязчивой идеей, побудил Верону вернуться к прежней тактике — тактике лукавого подстрекательства.

— Это совсем просто,— объяснял дон Николас.— Вы поселяетесь в бывшем доме Бруно. Не спеша, пешком, обходите поля, а вечером, незадолго до захода солнца, прячетесь у озера в надежде, что ягуар, побуждаемый жаждой, явится туда собственной персоной. Весь этот спектакль займет у вас несколько дней.

Совет был коварен. Мы знали дона Николаса как человека осмотрительного, но сейчас было очевидно, что он поддался искушению посмеяться над молодым инженером. Кого не прельщает идея подшутить над горожанином? Ве-

рона прекрасно знал, что инженер мечтает стать для нас своим человеком,— и с полным основанием, ибо он происходил из семьи, с давних пор обитавшей в наших краях,— и просто из озорства готовил ему ловушку, ставил преграды на его пути. Если вместо того, чтобы заниматься работой, инженер будет выслеживать более или менее мифических ягуаров, куда как ясно, что над ним станет потешаться вся округа. Мы никогда не забудем, как осрамился управляющий поместья «Кемадо», некий барон Энгельгарт, когда прошел слух, будто он посвящает воскресенья охоте на уток — стоит посреди озера в специальном непромокаемом костюме, выписанном из Германии, по подбородок в воде, маскируя голову пучком болотной травы.

Порой я думаю, что инженер был не так уж не прав, веря в прогресс. Глупые шутки, вроде того, чтобы подбивать человека просидеть несколько дней в заброшенном доме, считая ворон,— такие шутки, в те дни встречавшие всеобщее одобрение, ныне были бы отвергнуты как недостойные. Меня немного огорчает участие в низком розыгрыше столь благородной и доброй личности, как дон Николас; конечно же, это было не в его натуре. Потому я и говорю: подобные шутки отвечали не характеру человека, а характеру эпохи. Если в те времена находился кто-то, решавшийся их осудить, значит, он поистине возвышался над окружающими — такой, например, была Лаура. Что же до меня, то должен признать, я находился в числе веселящихся зрителей.

Получилось, однако, так, что шутка, розыгрыш или как там это назвать обернулась против самого дона Николаса. Поначалу словно бы безобидно; потом — нет.

Впрочем, следует отметить, что среди упомянутых мною радостных зрителей было еще одно исключение. Офицер Бароффио заявил:

— Как известно, мы окружены сейчас не только водою, но и бандами конокрадов, и я часто выезжаю в поля, чтобы немного пугнуть эту сволочь.— Он сделал паузу и затем дружелюбно обратился к Лартиге: — На днях я загляну в усадьбу Бруно и, если увижу ягуара, сразу извещу вас, поедем

вместе и проверим, меткие ли мы стрелки.

Было очевидно, что он пытался спасти инженера от уготованной ему ловушки. Тем не менее кое-кто истолковал вмешательство Бароффио как выпад против Вероны. Ведь правда, что даже в таких местах, как наше, где всех связывает давняя дружба, неизбежно случаются трения, если не сказать стычки, между представителями власти и оппозицией.

Погибающие сами отвергают руку помощи. Лартиге осведомился у Вероны: — А чтобы остановиться в этом доме, надо спрашивать разрешения у сеньора Бруно?

Кто-то отозвался с усмешкой: — Живи он сейчас, сколько бы ему было? — Лет сто, не меньше,— ответил Хара.

— Как говорится, это был прожженный тип,— заметил дон Николас.— Шулер и обманщик. Он исчез без следа году в восьмом.

— Оставив взамен ворох судебных дел в Асуле,— уточнил Бароффио.— До сих пор неясно, кому принадлежат угодья.

— Бруно был местной знаменитостью,— пояснил дон Николас.

— Я уверен,— сказал Басилио,— что в доме у сеньора Лартиге его имя упоминалось не раз.

— У него были лучшие лошади во всей округе. Только что куцехвостые,— сказал Осан.

— Он так и стоит у меня перед глазами,— продолжал дон Николас.— Элегантный, в вышитом жилете, улыбается и поигрывает хлыстом. Иногда он позволял себе, как говорится, сделать широкий жест, ему нравилось, когда о нем шли разговоры. Игрок и сутяга, любитель ссор и волокита, он был, конечно, неприятным соседом.

Через несколько дней после этого разговора, под вечер, когда дон Николас работал в своем кабинете, Лаура, чуть смущенная, приоткрыла дверь и проговорила посмеиваясь: — А ну угадай, кто к нам приехал?

Дон Николас не угадал. К ним приехал инженер и сразу же, еще не присев в кресло, не попробовав ликера и печенья,

которые подала им Лаура на серебряном подносе, начал разговор, притом весьма бессвязный. Понятно, что темой была его навязчивая идея.

— Я пришел сюда потому, что все еще сомневаюсь насчет ягуара. Может, вам это кажется манией, но я не успокоюсь, пока не узнаю наверняка, существует ягуар или нет. Как бы мне хотелось, чтобы он существовал. Но естественно, человек, воспитанный в современных идеях, вроде меня, склоняется к скептицизму.

Дона Николаса глубоко раздражала эта дурная привычка прямо переходить к делу, столь свойственная молодым людям, приезжающим из города,— ведь как раз поэтому им следовало бы вести себя иначе. Его ответ был поучителен: — Прежде чем всесторонне обсудить эту тему, почему бы нам сначала не отведать того, чем потчует нас хозяйка?

Ему казалось неучтивым принимать любезность его жены, не оценив ее по достоинству, не поблагодарив как должно.

Молодой Лартиге еле сдерживал нетерпение, пока его пичкали печеньями, наливками и сладостями. Наконец он смог вымолвить короткую фразу, поставившую хозяина в тупик. Инженер просил Верону отправиться вместе с ним в экспедицию к дому Бруно!

Не опомнись дон Николас, он тут же спросил бы инженера, допустимо ли предполагать, чтобы уважаемый человек позволил делать из себя шута, участвуя в охоте на ягуара в соседних полях; но, как он вовремя понял, задавая подобный вопрос, он словно бы признавал, что предложил выступить в роли шута инженеру; потому он поперхнулся и без особой связи заметил: одно и то же бывает благотворно для молодых и пагубно для людей пожилых, к тому же молодость бесстрашна.

— Но не думаете же вы, сеньор, что это на самом деле опасно?

— Опасно или нет, но тому, кто собирается провести там ночь, храбрость не помешает.

— Из-за ягуара?

— Во-первых, из-за ягуара. Трава там местами очень

густая, ближе к озеру поле переходит в болото. И столько есть везде укромных уголков, что с ягуаром лучше не встречаться. Это хитрый зверь, он в любой миг может внезапно прыгнуть на вас. Во-вторых, храбрость не помешает потому...

— Ваша супруга говорила мне, что дом заброшен и по ночам оттуда доносится шум.

Верона вопросительно посмотрел на него и сказал:

— Моя супруга говорила правду.

— Привидения?

— Может статься, всего-навсего несчастный бродяга, который хочет лишь одного — чтобы его оставили в покое. Но, защищая свою берлогу, он не колеблясь нападет исподтишка и отправит вас в иной мир, стоит только зазеваться.

Однако объяснения, казалось, разжигали любопытство инженера и утверждали его в намерении как можно скорее отправиться в дом Бруно. Со своей стороны, дон Николас поначалу забавлялся с ним, точно кот с мышью; но поверьте, все шло не так-то гладко. Как он ни отказывался участвовать в экспедиции, инженер продолжал настаивать, повторяя с незначительными вариантами одну и ту же фразу: «Но ведь мы, сеньор, поедем вместе». И тут Лаура, обычно такая благоразумная, вдруг огорошила мужа следующими словами: — Мы оба поедем туда.

Слышите: мы оба.

Настал миг прощания, и хозяева вышли проводить инженера до частокола, где была привязана его лошадь.

Едва они остались одни, дон Николас посмотрел на юг и заметил:

— К счастью, дождь скоро не кончится.

— Какой ты недобрый,— сказала Лаура.— Пусть дождь идет и идет, лишь бы не ехать с ним. Если тебе не хотелось составить ему компанию, зачем ты подзуживал его?

— Да что ему сделается, этому молодому человеку? Ну, проторчит там два-три дня, поджидая несуществующего ягуара.

— И учти, две-три ночи. А если какой-нибудь шутник —

их всегда хватает — вздумает его напугать? Не дай бог, случится несчастье.

— Мне кажется, ты сгущаешь краски, Лаура.

Тут он ошибался.

— Вся эта шутка — ребячество, Николас,— укорила его жена.— И ребячество, пожалуй, недостойное.

На обратном пути от частокола к дому Верона пообещал Лауре, что при следующей встрече с молодым человеком приложит все усилия, чтобы отговорить его от этого предприятия. Потом, очевидно подумав, что обещание заслуживает награды, добавил: — А мы с тобой в субботу отправимся в кино, хорошо? В Лас-Флоресе идет «Возвращение Фрэнка Джеймса».

Лаура охотно согласилась, хотя и не особенно любила ковбойские фильмы.

Но в среду, несмотря на проливной дождь, Лартиге снова появился в усадьбе «Пасифика». Доводы дона Николаса не возымели никакого действия. Чем больше он пытался разубедить молодого человека, тем сильнее тот рвался на охоту. Лаура поняла это и наконец (чтобы положить конец спорам, как объяснила она потом) заявила: — Поедем втроем.— Когда? — спросил Лартиге.

Они никак не могли столковаться о дне. На этот раз конец спорам положил Верона, сказав: — Завтра.

— Взять с собой ружье?

— Как вам угодно. Впрочем, разумно, разумно: я захвачу винчестер и охотничье ружье для Лауры. Мы ждем вас после сиесты.

Инженер быстро удалился — наверное, затем, чтобы супруги не успели передумать.

Когда они остались вдвоем, дон Николас заметил: — Вот увидишь, субботу мы еще проведем там.

— Конечно.

— Но у нас с тобой были в субботу дела.— Съездить в кино? Ты сущий ребенок,— нежно ответила Лаура.

На следующий день инженер заставил себя ждать, что вызвало гневную речь со стороны дона Николаса в адрес

«этих молодых людей, воспитанных в необязательности».

Чтобы убить время, они пошли к сараю посмотреть, приготовил ли работник повозку. Было холодно; шел мелкий дождь. Оглядев небо, дон Николас сказал с досадой:

— И как назло, скоро прояснится.

Потом он заверил жену, что эта экскурсия — глупейшая затея.

Крытая повозка, запряженная парой серых в яблоках лошадей, ждала у частокола.

— Если мы решились на эту глупейшую затею,— сказала Лаура, словно размышляя вслух,— лучше всего не принимать ее всерьез и не расстраиваться.— Я буду вести себя хорошо,— улыбаясь, пообещал Верона.— Право же, я не заслуживаю такого счастья.

— Какого счастья?

Дон Николас ответил фразой, которая ему запомнится:

— Раз ты со мной, что мне за дело до того, как поступит мальчишка вроде Лартиге?

Когда «мальчишка» наконец пришел, дон Николас помог ему нагрузить повозку стульями, столами, койками, одеялами, добавил сюда несколько мешков — частью с продуктами, частью с кухонной утварью и посудой,— два охотничьих ружья и винчестер.

Излив жене свое естественное возмущение молодым инженером, дон Николас с той самой минуты начал развлекаться от души и веселил других. Все трое уселись на передок, в воздухе свистнул бич, и в холодный осенний день они двинулись по старым следам через грязное поле к заброшенному жилищу ягуара, где их ждали опасности и несчастья.

Они миновали участок Пропащего, пастбище Констансио, и тут впереди мелькнула лиса.

— Это лиса или собака? — спросил Лартиге.

— Лиса,— ответил дон Николас.

— Я думал, их уже здесь не осталось.

— Их и не было; но молодежь уехала в столицу, края обезлюдели, и зверье вернулось.

— Какое зверье?

— Не пугайтесь, если вам встретятся лисы, дикие коты или порой даже вискача.

— Прошу заметить, что вы не упомянули ягуара.

И Лартиге добавил, наполовину в шутку, наполовину всерьез, что эти края, похоже, и сейчас такие же пустынные и опасные, «как в старину, когда их называли дикими».

Путь был долгим, хватило времени обсудить самые разные темы. Зашел разговор и о Бруно; дон Николас снова припомнил его отменных лошадей, его тяжбы, его вышитые жилеты и дурную славу шулера и драчуна.

Уже подъезжая к заброшенному дому, Верона и Лартиге заговорили о ковбойском фильме, который видели когда-то — один в Ла-Плате, другой — в Буэнос-Айресе. Оба забыли, как он назывался, но ясно помнили сцену в салуне, где створки долго раскачивались после каждого толчка. Конечно, героиня убегала с кем-то, уносилась верхом в даль прерий после непременной драки между хозяином салуна в нарядном, причудливо расшитом жилете и одним из посетителей, прятавшим в голенище небольшой острый нож.

— С кем же убежала кинозвезда? — спросила Лаура.

— Понятно, с героем,— ответил дон Николас.— С кем же еще?

— Герой женщин,— заметила Лаура,— далеко не всегда герой в глазах мужчин.

— Вы глубоко правы,— отозвался Лартиге,— но не забывайте, сеньора, что в фильмах герой только один.

Впереди показалась густая рощица. Что-то побудило Лартиге спросить: — Это там?

— Да,— ответил Верона.

Вблизи стало видно, что в роще растут не только обычные эвкалипты, но и казуарины, тополя, ивы, самые разнообразные фруктовые деревья, душистые травы, тростник, и все окружено живой изгородью. Сам дом был большой, квадратной формы; на односкатной пологой крыше были видны битые черепицы.

Повозка остановилась; Лартиге принялся за разгрузку, но Верона попросил его обождать.

— Не спешите, молодой человек. Прежде всего надо убедиться, можно ли провести здесь ночь или лучше сразу повернуть назад.

Они обошли дом. При виде комнат Лаура и Лартиге не раз издавали восхищенные возгласы. Верона покачал головой.

— Дом в плохом состоянии,— сказал он.— По существу, здесь нет ни дверей, ни окон.— Зато,— поспешил откликнуться Лартиге,— есть стены и крыша.

— К счастью, мы привезли множество пончо,— заметила Лаура.

Вдали раздался скрип колодезного колеса.

— Из колодца еще берут воду? — спросил Лартиге.

— Соседи чинят его, когда надо. Вода там очень вкусная.

С помощью Лартиге Лаура начала приводить комнаты в порядок. Верона, хотя ничего и не делал, вдруг почувствовал, что очень устал, и вышел на свежий воздух, словно ему захотелось побыть одному. Он вспомнил, что недавно (но в связи с чем?) Лаура сказала ему: «Ты сущий ребенок», и подумал: «Так или иначе, мы все ведем себя, как дети. Даже Лаура теперь играет в уборку вместе с молодым Лартиге, забывая о том, что это не дом, а жалкие развалины».

Задумавшись, он миновал рощу и оказался в открытом поле, а потом — на берегу озера и только тут с неудовольствием заметил, что не взял с собой винчестер. «Если я столкнусь с ягуаром, мне останется лишь скрестить руки и ждать, пока он уйдет. Впрочем,— укорил он себя,— теперь пришел мой черед играть в то, что ягуар существует». Озеро было большое, по берегам рос густой камыш, повсюду виднелись птицы. Он долго стоял, глядя на воду или просто в никуда,— отрешенный, недовольный, печальный.

По возвращении его ожидал сюрприз. Дом внутри стал совсем иным. Молодые люди отмыли стены и пол, вырвали сорняки, завесили щели цветными пончо.

— Это столовая,— сказала Лаура.— Идем, я покажу тебе спальни.— Здесь наша спальня,— сказал Верона.

— Тебе нравится?

— Очень, так бы и остался здесь навсегда.

— Посмотрим мою комнату,— позвал Лартиге.

На столе возле кровати Верона увидел знаменитую тетрадь марки «выпускник», в которой молодой человек записывал сны. Она сразу бросалась в глаза.

Лаура послала их за дровами. Когда они вернулись, Лаура попросила их еще немного прогуляться.

— Не сердитесь, но когда женщина занята стряпней, мужчина лишний,— объяснила она.

Думая не столько о том, куда идти, сколько о том, как бы не попасть в лужи, они забрались в заросли тростника, в самое низкое место.

— Скажите мне правду,— попросил инженер.— Для вас ягуар существует или не существует?

— Мы затем сюда и приехали, чтобы выяснить это, потому не надо торопиться. Пока же предположим, что он существует. Из чистой предосторожности, верно? Чтобы он не застал нас врасплох.

Они медленно продвигались вперед, отводя тростник руками.

— В таких местах,— заметил инженер,— ягуар может притаиться где угодно. Притаиться и подстерегать нас.

— Вот я и говорю. И хуже всего, что мы не взяли собаку.

— Если ягуар прячется неподалеку, собака обнаружила бы его...

— Куда раньше нас,— закончил дон Николас.

Инженер нервно рассмеялся: — Мы обнаружим его, когда он вцепится нам в горло.

— Вот именно. Кроме того, собака — большое подспорье в сражении с хищником. Но не забывайте, что нас могут ждать и другие опасности, помимо ягуара.

— Вы уже говорили, что в доме — кто знает — укрывается какой-нибудь бродяга.

— Но я не сказал, что есть и другая опасность: мы мо-

жем нечаянно ранить друг друга.

— С какой стати?

— Так бывало не раз. Представьте, что вы идете направо, а я налево. Вдруг я вижу: в кустах что-то шевелится. Прицеливаюсь и стреляю. А это не ягуар; это вы. Такие случаи происходили и будут происходить. Чтобы избежать этого, я позволю себе напомнить очень важное правило: когда мы выходим порознь, ружья оставляем дома. Договорились? — Как вам угодно.

— Вы не очень-то согласны со мной. Никто не верит в несчастье, пока оно не стряслось.— Ничего не случится, дон Николас.

— Однако мы договорились, что ни вы, ни я не берем ружей, если выходим поодиночке? — Договорились, дон Николас. Но вот сейчас мы вышли вдвоем, а ружей при нас нет.

— Поверьте, это большая неосторожность.

Они устали, проголодались, но терпели. Потом Лаура щедро вознаградила их: ужин начался с наваристого и ароматного супа, затем последовала курица, вызвавшая массу похвал, а венцом трапезы стал замечательный молочный крем. Прекрасная еда в сопровождении добрых вин отнюдь не нагнала на них дремоту, а, наоборот, еще больше расположила друг к другу, и завязался оживленный разговор.

Инженер и Лаура в один голос стали просить Верону рассказать им о Бруно. Дон Николас утверждал, что то был несдержанный и эгоистичный человек.

— Он был крут даже со своими братьями,— говорил Верона.— Никогда не проявлялась в нем привязанность к людям одной с ним крови, столь естественная у большинства смертных. Я бы обрисовал его как человека старого времени, ярого противника перемен и прогресса. Точно живой, он стоит у меня перед глазами: я словно вижу его волосы, блестящие и даже чуть жирноватые — он употреблял брильянтин с запахом фиалок, и это было очень заметно, особенно при взгляде на волнистую прядь, падавшую на

лоб; его длинные усы, которые, как говорили злые языки, он каждое утро нафабривал и подравнивал. Его отличало некое броское щегольство, и он первый — чтобы не сказать единственный — начал носить вышитые жилеты.

— Но ведь трусом его не назовешь? — спросила Лаура.

— К этому я и веду: кое-кто, побуждаемый справедливым возмущением, хотел было поставить его на место, но в смятении убеждался, что он не только хитер и низок, но еще и храбр и, пожалуй, решительнее, чем его противники, ибо не останавливался ни перед чем.

Обсудив эту любопытную разновидность местного землевладельца — из тех, что жили здесь в старину,— они перешли к теме прогресса в нашей стране и вообще и к относительным достоинствам прогресса и традиции. Оба проявили себя красноречивыми собеседниками, хорошо знающими предмет и даже остроумными. Быть может, их воодушевляло тайное желание блеснуть перед дамой. Лартиге распространялся о «современном консерваторстве», а Верона заявил, что в эту ночь в этом заброшенном доме как нельзя лучше представлен во всей полноте «политический спектр страны».

Под утро они наконец поддались уговорам Лауры и разошлись. Оба устали, но были довольны собой, спором и даже соперником, которого даровала им судьба.

В субботу, пока Лаура готовила обед, мужчины отправились на берег озера. Каждый взял с собой ружье.

— Слышали? — спросил Лартиге.

— Что?

— Как что? Рычание, конечно.

Из зарослей взмыли вверх стаи птиц.

— Наверное, я старею,— снисходительно заметил Верона.— Доктора говорят, что иные старики плохо слышат.

В течение дня они не раз прочесывали окрестности в поисках ягуара, ели до отвала и спорили.

Вечером Лаура была прелестна как никогда. Она изменила прическу, надела новое платье, которого муж еще не видел, коралловое ожерелье и браслет. Мужчины были

в ударе. Желая, быть может, щегольнуть перед Лаурой предельной беспристрастностью или просто доказать собственное благородство, они к концу вечера как бы поменялись ролями: после некоторых споров каждый встал на позицию противника, так что консерватор возлагал теперь свои надежды на преобразование общества, а радикал — на бережное уважение к традициям. Если смотреть на них из сегодняшнего дня, эти вдохновенные собеседники, сидящие за столом поздней ночью где-то в прошлом, посреди наших необозримых полей, рисуются мне как бы овеянными ореолом романтики. Я уже говорил: то были люди иного времени.

Незаметно зевнув, Лаура спросила:

— Почему бы вам не продолжить разговор завтра? Пора спать.

Они пожелали друг другу доброй ночи. Лартиге пошел в свою комнату; супруги — в свою.

Лартиге лег не сразу, вспоминая весь разговор, повторяя свои и чужие аргументы. Наконец он разделся и потушил свечу. Через несколько минут нащупал спички, зажег свечу, встал, переставил ружье поближе и вновь бросился на койку. Сам по себе ягуар мало его беспокоил, но если добавить сюда отсутствие дверей и окон, ситуация представлялась в менее приятном свете. «Хорошо еще, что этот призрак, шумевший тут прежде, не трогает нас». Потом он понял, что призрак его совершенно не тревожит; но вовсе не радостно думать, что он может проснуться от удара звериной лапы. Он вздрогнул, потом пришел в себя. «Но я не ослышался. Думаю, что не ослышался. Это было рычание». Откуда оно донеслось? «Кто знает, откуда, но все равно это где-то близко». В качестве первой меры он дотронулся до ружья. Потом затаился, чтобы прислушаться, наконец поспешно встал и вышел наружу. В свете луны деревья казались выше. Когда луна ушла за облака, Лартиге стал нервно вглядываться в темноту. Потом осторожно приблизился к пончо, закрывавшему вход в соседнюю комнату, и прошептал:

— Вы слышали? Вы ничего не слышали? — повторил он.

— Ничего,— отозвался дон Николас.

— А ваша жена?

— Если вы ее еще не разбудили,— ответил дон Николас тихо и рассерженно,— моя жена спит.

Лартиге отказался от дальнейших расспросов и, прижимаясь спиной к стене, вернулся в свою спальню. Он подумал, что Верона был прав: им не надо было оставаться. «В тот же четверг нам следовало отправиться назад: без дверей и окон мы здесь как на ладони. Одно утешение, что у меня пропадет всякое желание встречаться с ягуаром».

Не зная, что делать с собой, он снова прилег на койку. Он предчувствовал, что проведет ночь без сна, но все оказалось куда хуже: мысль о том, что, открыв глаза, он прежде всего увидит ягуара, мешала их закрыть. Ни за что нельзя допустить, чтобы его застали врасплох. Прислушиваясь к ночным звукам, он старался различать их порознь, чтобы сразу уловить шаги приближающегося зверя. Он представил себе все звуки в целом в виде ивовой кроны, тогда каждый из них — это отдельная ветвь с листьями. Следить за каждой ветвью становилось все труднее — ветер качал их, они скрещивались и сплетались. Инженер крепко уснул.

Ему снился ягуар. Конечно, как это водится во сне, ягуар был не совсем ягуаром, а дом — не совсем этим домом; во всяком случае, он, лежа на своей кровати, видел, как ягуар великолепным прыжком проникает в спальню Вероны и его жены. В отдельных деталях сцена напоминала кадры ковбойского фильма. Внезапно он припомнил, каким на самом деле был дом. С трудом он убедил себя, что видеть все это из его комнаты невозможно. Он понял, что спит, и проснулся. Потом он объяснял, что сон показался ему необыкновенно важным; у него уже вошло в привычку сразу записывать сны, и теперь он зажег свечу, подвинул тетрадь и сел за стол. Наверное, ветер утих, потому что лишь изредка до него доносился легкий шелест листвы; а когда эти звуки смолкали, он не слышал ничего, или, быть может,

следовало сказать иначе: он слышал глубокую тишину. Эта тишина привлекла его внимание, в ней было нечто странное; она словно говорила, что происходит нечто странное; царя вовне, она словно отражала его состояние, его чувства; может быть, предчувствие. Обдумав все, он встревожился; оправдываясь этим, встал — больше ждать было немыслимо. Он накинул клеенчатый плащ, вышел на галерею, торопливо шагнул к соседней комнате, стараясь понять, что же происходит. У него сложилась в уме нелепая фраза — он сказал или подумал: «Тишина там, внутри». И вправду, не было слышно даже дыхания спящих. Ему стало страшно. «Зверь убил их обоих». И тотчас он устыдился своего страха. «Если кого и убьют, так это меня — когда я разбужу Верону из-за этих бредней». Он вернулся к себе. Потом Лартиге снова лег, но свечи не тушил. До рассвета уже недолго, подумал он, а дневной свет развеет эти страхи, от которых он уже не находил себе места. Хуже всего была полная тишина в доме. Прошлой ночью он так ясно слышал храп Вероны, что боялся вовсе не сомкнуть глаз. «Если бы теперь он храпел,— размышлял инженер с тоской,— я заснул бы как младенец». Думаю, человек жаждет уснуть, чтобы ускользнуть от ночи. В наших душах все еще живет страх перед ночной тьмой.

Когда прозвучал выстрел (где-то в зарослях, совсем недалеко), Лартиге понял, что оставаться в комнате невыносимо. Он снова набросил плащ, вышел на галерею, замер у входа в соседнюю спальню; прислушался. Там по-прежнему царила тишина. Не дыша, он слегка отодвинул пончо; набрался храбрости и вошел; достаточно было чиркнуть спичкой, чтобы убедиться: комната была пуста. Лартиге зажег свечу и быстро осмотрелся. «Пятен крови нет,— пробормотал он.— Винчестера тоже».

Новый выстрел. Он вспомнил о ружье и пошел за ним. Подумал об их уговоре не брать ружей, когда они ходят поодиночке, но решил, что Верона первый нарушил уговор, а в такую ночь бродить безоружным — непростительная глупость.

Он пойдет теперь в направлении последнего выстрела. «Да, но куда? — спросил он себя и, поколебавшись мгновение, воскликнул: — Стреляли в тростнике». Он побежал, потом пошел медленнее, подумав: «А вдруг он встретит меня выстрелом?» Каким-то образом он оказался в гуще колючих кустов, которые больно царапались. Лицо у него горело огнем. Он пошел назад, отыскивая дорогу к дому, но выбрался не к дому, а к зарослям тростника. «Я окончательно запутался»,— подумал он. Раздался еще один выстрел. Обрадовавшись, что теперь-то идет куда надо, он побежал, поскользнулся, упал в лужу. Встал на ноги — мокрый, весь в глине,— перелез через проволоку, продрался сквозь живую изгородь и очутился на открытом месте — в придорожной канаве. Хотя уже рассветало, он не сразу заметил Верону, который сидел неподалеку, на краю канавы, уткнув лицо в руки.

— Что случилось, дон Николас?

— Сами видите.

— А где ваша жена?

— Он увел ее, друг мой, он ее увел. Когда я опомнился, их уже не было.

— Кто ее увел?

— Уму непостижимо: я даже не шевельнулся, думая, что сплю. До сих пор поверить не могу, что это не сон.

— Отчего вы не позвали на помощь? Вдвоем мы бы его одолели.

— Меня опередили, потому нельзя было терять ни минуты. Но вас я звал. Звал как мог. Вы слышали выстрелы? Будь мы вдвоем, все было бы иначе.

— Прочешем заросли?

— Бесполезно. Можете быть уверены, они уже далеко. Чтобы знать, куда они направились, надо сперва найти следы, но на это уже нет времени. Сейчас они наверняка на другом берегу ручья — в Рауче, в Реаль-Аудиенсии, кто знает где.

— Если вы подождете, я поднимусь на мельницу.

— Я с вами.

Сверху равнина казалась нарисованной; тонкие линии проволочных оград делили ее на большие прямоугольники; озера блестели как зеркала, рощи вокруг усадеб или хижин зеленели — а дальние синели,— словно острова, разбросанные в бескрайних просторах. Они вглядывались изо всех сил, но так и не обнаружили беглецов. Вдруг на горизонте показалась движущаяся точка.

— Это они,— возбужденно воскликнул Лартиге.

— Не думаю. Кто-то едет сюда.

— Откуда вы знаете?

— Теперь уже видно, что точка увеличилась.

Чуть позже Верона заверил, что это всадник, идущий рысью или коротким галопом. Он скакал по той же дороге, на которой они только что встретились. Вскоре они различили зеленоватую форму и догадались, кто это был.

— Бароффио,— сказал Верона.— Объезжает поля.

— Как обещал,— добавил Лартиге.

Они спустились на дорогу.

Наверное, Верона выглядел очень встревоженным, потому что офицер немедленно спросил: — Что случилось, дон Николас?

Этот же вопрос недавно задал Лартиге.

— У меня увели жену, Бароффио, увели.

— Кто?

— Мне кажется, я еще сплю. Но это не сон.

— Человек не виноват в том, что на него валится. Кто же это был? — Ягуар, Бароффио.

— Невероятно.

— Я видел его своими глазами.

— Расскажите, как все произошло.

— Мы спали. По крайней мере, я крепко спал. Меня разбудило отчетливое рычание, и я увидел ягуара, прыгавшего в окно. Не успел я поднять винчестер, как он уже уволок мою жену.

— Однако я слышал выстрелы,— сказал Бароффио.— Слышал их отчетливо.— Выстрелы в воздух,— ответил Лартиге.

— Я сразу же бросился за ними вслед. Один только раз я заметил их вдали, на прогалине. Бруно тащил ее за руку,— объяснил дон Николас.

— Вы сказали — Бруно?

— Да, Бруно. В свете луны я ясно видел вышитый жилет.

— И вы не стреляли? — спросил Бароффио.

— Стрелял и промахнулся.

— Поверить не могу.

— Я тоже. Когда я добежал до прогалины, они уже исчезли.

— Вы были одни, верно?

— Мы были вдвоем,— сказал Лартиге.

Верона посмотрел на него, словно желая что-то спросить.

— Вы хотите сказать,— уточнил офицер,— что, преследуя беглецов, вы ни на минуту не разлучались?

— Это доказывают наши ружья,— подтвердил Лартиге.— Мы договорились не брать ружей, когда ходим порознь.

— Почему вы стреляли в воздух?

И снова ответил Лартиге.

— Чтобы подбодрить сеньору,— сказал он.— Чтобы она знала: мы ее ищем. Чтобы она знала: мы не бросили ее в беде.

— И последний вопрос, конечно, совсем второстепенный: почему на инженера, что называется, страшно смотреть, а дон Николас ничуть не забрызган и не поцарапан?

— Вот вам наглядная разница между местным жителем и горожанином,— ответил Лартиге.

— Вы тут разговариваете,— жалобно воскликнул дон Николас,— а ягуар уносит Лауру все дальше. В эти минуты они уже, наверное, на краю света.

— У него были лошади?

— Он взял наших. Упряжку из фургона.

— Попробую собрать нескольких соседей,— заявил офицер.— Вместе оно вернее.

О беглецах так ничего и не узнали. Полицейская часть, доставленная из Лас-Флореса или из Асуля, а по словам иных, даже из Ла-Платы, обыскала дом и заросли, но

единственное, что они обнаружили,— это коралловый браслет, лежавший в траве у прогалины. Поскольку показания Вероны совпадали с заявлениями инженера, дело вскоре было закрыто.

Но еще до этого Верона пришел к инженеру в гости. Усевшись в кабинете, за закрытыми дверями, он начал так:

— С вашего разрешения, я задам вам вопрос, который не перестает занимать меня с того самого мига, когда мы встретили Бароффио на дороге, возле мельницы. Не обижайтесь, но почему вы ему солгали?

— Потому что вы говорили правду,— немедленно ответил Лартиге,— а мне подумалось, что офицер может вам не поверить.

— Почему офицер мог мне не поверить?

— Ну, все, что вы говорили, было довольно странно.

— Мне самому это показалось странным, но не в первую минуту, а потом, когда я немного пришел в себя. Но я не понимаю вот чего: почему вы решили, что я говорю правду?

— Вы сказали, что видели, как ягуар прыгал в окно. И как он уволок вашу жену.

— Так оно и было.

— И что это был Бруно. И на нем был вышитый жилет.

— Пока я рассказывал, мне не казалось странным, что ягуар — это старина Бруно.

— Вы говорили о том, что видели.

— Откуда вы знаете?

— Помните, я рассказывал вам про мою тетрадь?

— Марки «выпускник»? Почему-то я обратил внимание на эту тетрадь, заглянув к вам в комнату в день приезда. Диву даешься, как быстро Лаура смогла навести порядок. Какое умение делать дом жилым и уютным.

— Теперь, сеньор, окажите любезность прочесть абзац из этой тетради. Одну минуту, она у меня в спальне.

Наконец Верона прочел:

«В окно, мягко пригнувшись, скользнул ягуар. Когда я опомнился, он уже уводил Лауру. Одной рукой он обвивал ее талию. Наружность его совпадала с описанием дона

Николаса. Бруно был высокий человек с правильными чертами лица и неприятным взглядом, изобличавшим в нем злую душу; он напомнил мне негодяев из ковбойских фильмов. Я заметил, что на нем был один из этих знаменитых вышитых жилетов, с рисунком в виде лавровых листьев».

Помолчав, дон Николас спросил: — Вы объясните мне, как вам удалось видеть все это, не находясь в комнате? Полагаю, что вас в комнате не было?

— Это был сон, сеньор.

— Какой уж сон. Я наблюдал за происходившим собственными глазами, наяву, как сейчас.

— Во сне не кажется странным, что ягуар может одновременно быть человеком.

— Сны, милый юноша, одно из того немногого, что мы можем назвать нашей собственностью. До сих пор я не слышал, чтобы сны видели вместе. Даже с Лаурой мы не видели одинаковых снов, а ведь она — часть моей жизни, так что лучше не надо. Покончив с этим, я задам вам последний вопрос, раз вы были свидетелем этого события. Ягуар, или Бруно,— как он ее уводил? Он тащил ее?

— Да нет, не совсем, сеньор.

— Говорите откровенно.

— Вы уже прочли в тетради: он обнимал ее за талию. Только не обижайтесь.

— Почему я должен обижаться?

— Не знаю... И потом, вы сказали, что он ее волок.

— Это было в первый момент, я сказал так из самолюбия, еще не измерив всей глубины моего горя.

— Мне не хотелось бы его оживлять.

— Наоборот: ваши слова дают мне надежду. Когда вы солгали Бароффио, я заподозрил, что вы все знаете. Теперь я уверен: вы знаете, что я сказал правду. Значит, я не спал. И значит, тут не было преступления или насилия. Лаура ушла.

— Пожалуй, что так.

— А раз она ушла, то может и вернуться.

Содержание

Бьой Касарес А.

К 28 Теневая сторона: Рассказы/Пер. с исп. Сост. и предисл. Вероники Спасской.— М.: Известия, 1987.— 224 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В книгу «Теневая сторона» вошли рассказы из сборников разных лет аргентинского писателя Адольфо Бьоя Касареса. Фантастические ситуации и события в произведениях этого прозаика позволяют ему с большой глубиной раскрыть перед читателями мир реальных человеческих взаимоотношений, чувств, проблем социального и этического порядка.

К $\frac{4703000000—039}{074(02)—87}$ 66—87

ББК 84. 7 Ар
И (Арг)

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС

ТЕНЕВАЯ СТОРОНА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*
Редактор *М. Канторович*
Художественный редактор *С. Мухин*
Технический редактор *Г. Голосовская*
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1114

Сдано в набор 29.05.86. Подписано в печать 03.11.86. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 18,5. Уч.-изд. л. 10,66. Тираж 50 000 экз. Зак. № 531. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

1 р. 10 к.



Адольфо Бьой Касарес (родился в 1914 году) — известный аргентинский писатель. Автор романов "Изобретение Мореля", "Сон героев", "Хроника войны против свиней", сборников рассказов "Козни небесные", "Гирлянда историй о любви", "Теневая сторона", "Герой женщин" и др. Несколько книг написал в соавторстве с Хорхе Луисом Борхесом.
В произведениях А. Бьоя Касареса присутствует элемент фантастики. В статье о фантастической тенденции в аргентинской литературе популярный французский критик Юбер Жюен так характеризует творчество Бьоя Касареса в ряду других близких ему авторов: "Борхес завораживает, Кортасар убеждает, Бьой Касарес тревожит".
Адольфо Бьой Касарес — лауреат нескольких национальных премий, его книги переведены на многие языки. В 1984 году он получил в Италии Международную премию "Монделло" за лучшую книгу иностранного автора.